

Н. О. Лосский

Достоевский и его христианское миропонимание

Часть I ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Глава первая ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ДОСТОЕВСКОГО



Федор Михайлович Достоевский (30. X.1821—28.1.1881) с начала и до конца жизни проявлял во всем своем поведении и характере чрезвычайное, иногда прямо-таки адское самолюбие, самостоятельность убеждений и поступков, — упорство в отстаивании своих убеждений, свободолюбие и чуткость ко всякому притеснению.

В детстве маленький Федя во всех своих проявлениях был, по словам родителей, «огонь»; он любил показывать ловкость и силу, устраивая игры в «диких», в Робинзона, он всегда предводительствовал. Однажды, когда он, не любя подчиняться чужому авторитету, резко отстаивал свои убеждения, отец пророчески сказал ему: «Эй, Федя, уймись; недобровать тебе... быть тебе под красною шапкой» (А. М. — *Достоевский*. «Воспоминания», стр. 43, 56, 71 . Красная шапка — форма сибирских штрафных батальонов).

Наклонность жить в мире фантазии обнаруживается у Достоевского очень рано. Совсем ребенком он с увлечением слушает, как отец читает матери романы Редклиф. Он любит читать путешествия, романы Вальтера Скотта, мечтает о путешествиях по Востоку и в шестнадцатилетнем возрасте пытается написать роман из венецианской жизни.

Выйдя из родительской семьи, в Инженерном училище, на службе, потом на каторге, самолюбивый Достоевский обособляется от толпы товарищей, навязанных ему обстановкою. Он ведет преимущественно уединенную жизнь и уходит в мир своей фантазии. Герой повести «Хозяйка», оторвавшийся от действительности и одиноко живущий своими фантастическими грезами, похож на Достоевского в эту пору его жизни. Он пишет в это время «Хозяйку» и, по-видимому, имея в виду себя, а также главное лицо своей повести, говорит в письме к брату Михаилу: «Вне должно быть уравновешено с внутренним. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Всякое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни» (Достоевский. Письма, I т., — № 44, стр. 106. В дальнейшем, ссылаясь на письма, я буду указывать лишь номер письма. Об автобиографическом значении «Хозяйки» см. статью А. Бема «Драматизация бреда» в сборниках «О Достоевском», I т., ред. А. Бема).

Обособление Достоевского от товарищей вовсе не есть следствие равнодушия к людям или черствости сердца. Наоборот, он живо воспринимает чужую жизнь; он легко проникает в сокровенные тайники характера не только людей, но и животных; особенно чуток он к чужому страданию. Удаление его от шумной толпы товарищей объясняется тем, что он недоволен действительностью, слишком далекою от идеала и часто наносящею удары его самолюбию. В живое общение он вступает только с избранными, например с Шидловским или с лицами, приглашенными им. Так, д-р Яновский рассказывает, что Достоевский любил в 1846—49 гг. устраивать обеды для своих приятелей где-либо в ресторане, произносить при этом речи и оживленно обсуждать в этих собраниях литературные произведения (Воспоминания о Достоевском. «Русский Вестник», 1885, апрель. *А. Г. Достоевская*. «Воспоминания»).

Достоевский страстно хочет любить и быть любимым, он считает себя человеком «с нежным сердцем, но не умеющим высказывать свои чувства»². Во все периоды своей жизни он жалуется на свой скверный отталкивающий характер: «иногда, когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова» (к брату Михаилу, I, № 44). Неудивительно поэтому, что свою жажду любви он удовлетворяет в мечтах и изливает ее в таких повестях, как «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Хозяйка», «Бедные люди», «Маленький герой». А сколько таких воображаемых сцен, как беседы с любимой девушкой в «Белых ночах», осталось не претворенными в повесть.

Когда исключительные условия, или семейная связь, или просто привычка снимают преграду между Достоевским и людьми, нежность его души и доброта обнаруживается ярко и сильно. В Тобольске приговоренный к каторге Ястржембский был близок к самоубийству; его удержало от этого поступка влияние Достоевского, который обнаружил в этом деле мужественную натуру с женственною мягкостью.

Множество фактов свидетельствует о его чрезвычайной доброте. Приятель молодости Достоевского д-р Ризенкамф говорит: «Федор Михайлович принадлежал к тем личностям, около которых живет всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью». Когда в 1843 г. Достоевский и Ризенкамф наняли общую квартиру, «самое сожительство с доктором чуть было не обратилось для Федора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять как дорогого гостя» (*О. Миллер*. Материалы для жизнеописания Достоевского, в книге «Биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского», 1883).

«Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие, — рассказывает барон А. Е. Врангель, — его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его; снисходительность к людям была как бы не от мира сего» (Барон А. Е. Врангель. Воспоминания о Достоевском в Сибири, 1854—1856 гг. СПб., 1912).

Узнав о страшной нищете одной вдовы, оставшейся после смерти мужа с тремя детьми 11, 7 и 5 лет, Достоевский из жалости взял ее к себе прислугой со всеми детьми. Анна Григорьевна Достоевская пишет об этом случае: «Федосья со слезами на глазах рассказывала мне, еще невесте, какой добрый. Он, по ее словам, сидя ночью за работой и заслышав, что кто-нибудь из детей кашляет или плачет, придет, закроет ребенка одеялом, успокоит его, а если это ему не удастся, то ее разбудит» (*А. Достоевская*. «Воспоминания»).

Он заботится об отдыхе прислуги. Испытывая самые тяжелые денежные затруднения, он тем не менее ежемесячно помогал семье своего любимого брата Михаила после его смерти.

Особенно удивительна его постоянная забота о пасынке Павле Исаеве и материальная поддержка его даже тогда, когда этот молодой человек проявляет нахальную требовательность, продает по частям любимую библиотеку своего отчима¹ во время его долгого пребывания за границею, получает места по протекции отчима и через месяц—два теряет их вследствие дерзкого отношения к начальству и т. п. Все каверзы пасынка Достоевский переносит с изумительною кротостью и долготерпением.

Просящим милостыню Достоевский никогда не отказывал в помощи.

«Случается, — рассказывала жена его, — когда у моего мужа не найдется мелочи, а попросили у него милостыню вблизи нашего подъезда, то он приводил нищих к нам на квартиру и здесь выдавал деньги». В 1879 г. какой-то пьяный крестьянин ударил на улице Достоевского по затылку с такою силою, что он «упал на мостовую и расшиб себе лицо в кровь».

«В участке Федор Михайлович просил полицейского офицера отпустить его обидчика, так как он его прощает».

Однако протокол был уже составлен и делу был дан ход. Мировому судье Достоевский заявил, что прощает обидчика и просит не подвергать его наказанию. Судья, снисходя к просьбе Достоевского, все же приговорил крестьянина «за произведение шума» и беспорядка на улице к денежному штрафу в 16 рублей, с заменю арестом при полиции на четыре дня. Достоевский подождал своего обидчика у подъезда и дал ему 16 рублей для уплаты штрафа.

Защищая Достоевского против навета Страхова, жена его пишет: «Федор Михайлович был человеком беспредельной доброты. Он проявлял ее в отношении не одних лишь близких ему лиц, но и всех, о несчастии, неудаче или беде которых ему приходилось слышать. Его не надо было просить, он сам шел со своею помощью. Имея влиятельных друзей (К. П. Победоносцева, Т. И. Филиппова, И. А. Вышнеградского), муж пользовался их влиянием, чтобы помочь чужой беде. Скольких стариков и старух поместил он в богадельни, скольких детей устроил в приют, скольких неудачников определил на места. А сколько приходилось ему читать и исправлять чужих рукописей, сколько выслушивать откровенных признаний и давать советы в самых интимных делах. Он не жалел своего времени, ни своих сил, если мог оказать ближнему какую-либо услугу. Помогал он и деньгами, а если их не было, ставил свою подпись на векселях и, случалось, платился за это. Доброта Федора Михайловича шла иногда вразрез с интересами нашей семьи, и я подчас досадовала, зачем он так бесконечно добр, но я не могла не приходиться в восхищение, видя, какое счастье для него представляет возможность сделать какое-либо доброе дело».

Человек болезненно самолюбивый, имеющий приятелей, но не подлинных друзей, съезживающийся от постоянных столкновений с людьми, но вместе с тем ищущий любви и ласки нередко удовлетворяет эту потребность своей души путем общения с детьми. Достоевский особенно нежно любил и понимал детскую душу.

«Я ни прежде, ни потом, — говорит Достоевская, — не видала человека, который бы так умел, как мой муж, войти в мирозерцание детей и так их заинтересовать своею беседою. В эти часы Федор Михайлович сам становился ребенком».

Рассказывая о длинной поездке всей своей семьи в Курскую гуубернию летом 1877 г., Достоевская говорит: «Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребенка: чуть, бывало, кто из троих начинал капризничать, Федор Михайлович являлся из своего уголка (он

садился в том же вагоне, но поодаль от нас), брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал. У мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми, войти в их интересы, приобрести доверие (и это даже с чужими, случайно встречавшимися детьми) и так заинтересовать ребенка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это его всегдашнюю любовь к маленьким детям, которая — подсказывала ему, как в данных обстоятельствах следует поступать».

Чуткий к чужим страданиям вообще, Достоевский особенно болел душою за детей, узнавая о случаях притеснения их. Он следит за судебными процессами, возбуждаемыми против родителей, истязующих своих детей. Из этих процессов он взял материал для «бунта» Ивана Карамазова против мира, в котором возможны невыносимые страдания невинных детей: *«Есть такие секущие, которые разгораются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивнее. Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше — больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка».* Тут именно незащищенность-то этих созданий, — говорит Достоевский, — и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, — вот это-то и распяляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь — зверь гневливости, зверь сладострастной распяляемости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и прочего».

Человек, измученный видением зла в мире и неспособный создать себе в своей общественной жизни среду дружеских отношений вследствие своей неуживчивости и требовательности, с душою мягкою, но не умеющею проявляться мечтает основать семью как уголок мира, в котором легче может быть осуществлен идеал любви. После смерти своей первой жены, брак с которой был неудачен, Достоевский в течение двух лет делает пять предложений (Сусловой, Корвин-Круковской, Иванчиной-Писаревой, Ивановой и Сниткиной). В отношениях к Иванчиной-Писаревой, Ивановой и Сниткиной нет и следа страстной влюбленности: делая предложение, Достоевский просто руководится желанием во что бы то ни стало иметь прочную семью. Он говорит, что если пришлось бы выбирать, жениться ли на умной или доброй: «возьму добрую, чтоб меня жалела и любила».

В молодости, в возрасте 26 лет, он сказал Яновскому: «Люблю не юбку, а, знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какие носит Евгения Петровна», почтенная мать семейства, жена художника-академика Н. А. Майкова, мать приятеля Достоевского поэта Аполлона Николаевича Майкова. Эти слова произнесены были приблизительно через год после того, как Достоевский, когда у него закружилась голова в пору кратковременного литературного успеха, познакомился, быть может, с сомнительными женщинами, а потом увлекся на несколько месяцев красавицею Панаевой. Он писал тогда брату Михаилу: «Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь». «Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя» (№ 31, 16. XI.1845).



Женившись на Анне Григорьевне Сниткиной, Достоевский в начале брачной жизни часто проявлял в отношении к молодой жене отрицательные черты своего характера, нередко ссорился с нею, кричал на нее и даже заявлял ей в одной из ссор, что жена — «естественный враг своего мужа». Через два месяца после свадьбы в письме к Сусловой, связь с которой была разорвана не Достоевским, а самую Сусловую, он объясняет свою женитьбу тем, что после

смерти брата Михаила ему было «ужасно скучно и тяжело жить», он пригласил стенографистку и, заметив ее любовь к себе, «предложил ей за меня выйти»; Сусловой же он говорит: «я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя», уважаю тебя «за твою требовательность, «друг вечный» (№ 265, 23. IV.1867).

По-видимому, свой брак он расценивает как дешевое необходимое счастье. Однако дальнейшая жизнь с доброю и умною женою, понимавшею величие гения своего мужа и прощавшею ему его недостатки, принесла такие глубокие переживания, которые создали неразрывное сочетание двух душ. Первым серьезным испытанием были страдания Анны Григорьевны во время трудных родов в марте 1868 г. в Женеве.

«В лице Федора Михайловича выражалось, — пишет Достоевская, — такое мучение, такое отчаяние, по временам я видела, что он рыдает, и я сама стала страшиться, не нахожусь ли я на пороге смерти, и, вспоминая мои тогдашние мысли и чувства, скажу, что жалела не столько себя, сколько бедного моего мужа, для которого смерть моя могла бы оказаться катастрофой. Я сознавала тогда, как много самых пламенных надежд и упований соединял мой дорогой муж на мне и нашем будущем ребенке. Внезапное крушение этих надежд, при стремительности и безудержности характера Федора Михайловича, могло стать для него гибелью» (А. Г. Достоевская. «Дневник»).

Когда родилась дочь, которую назвали Софией, Достоевский «благоговейно перекрестил Соню, поцеловал сморщенное личико и сказал: «Аня, погляди, какая она у нас хорошенькая!» Я тоже перекрестила и поцеловала девочку и порадовалась на своего дорогого мужа, видя на его восторженном и умиленном лице такую полноту счастья, какой доселе не приходилось видеть».

«Федор Михайлович, — продолжает Достоевская, — оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в покойное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только слышит ее голосок».

Он «целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею, причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнает его, и вот что он писал А. Н. Майкову от 18 мая 1868 года: «Это маленькое трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное, — для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил».

К сожалению, это счастье длилось недолго. На третьем месяце своей жизни девочка заболела воспалением легких и скончалась.

«Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, — пишет Достоевская, — я страшно боялась за моего несчастного мужа: отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя пред остывшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видела. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя».

После этого удара Достоевские не могли оставаться в Женеве и недели через две переехали в Веве.

Часть I ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Книжная лавка <http://ogurcova-portal.com/>

«Пароход, на котором нам пришлось ехать, — пишет Достоевская, — был грузовой, и пассажиров на нашем конце было мало. День был теплый, но пасмурный, под стать нашему настроению. Под влиянием прощания с могилкой Сонечки Федор Михайлович был чрезвычайно растроган и потрясен, и тут, в первый раз в жизни (он редко роптал), я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Вспоминая, он мне рассказывал про свою печальную одинокую юность после смерти нежно им любимой матери, вспомнил насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших.

Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел, а ее «странный, мнительный и болезненно фантастический характер» был причиной того, что он был с нею очень несчастлив. И вот теперь, когда это «великое и единственное человеческое счастье иметь родное дитя» посетило его и он имел возможность сознать и оценить это счастье, злая судьба не пощадила его и отняла от него столь дорогое ему существо. Никогда ни прежде, ни потом не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей.

Я пыталась его утешать, просила, умоляла его принять с покорностью ниспосланное нам испытание, но, очевидно, сердце его было полно скорби, и ему необходимо было облегчить его хотя бы жалобой на преследовавшую его всю жизнь судьбу. Я ?? всего сердца сочувствовала моему несчастному мужу и плакала с ним над столь печально сложившеюся для него жизнью. Наше общее глубокое горе и задушевная беседа, в которой для меня раскрылись все тайники его наболевшей души, как бы еще теснее соединили нас».

Через полтора года у Достоевских в Дрездене родилась вторая дочь — Любовь.

«С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье», — говорит Достоевская - Страхову Достоевский пишет: «Ах, зачем, зачем вы не женаты и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич. Клянусь вам, что при этом три четверти счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть».

После нескольких лет семейной жизни Достоевский часто говорит своей жене, что они «срослись душою», пишет ей: «Ты слилась со мной в одно тело и в одну душу» (№ 562. 24. VII, 76), считает ее «красавицею» (Письма к жене, № 140, 144).

В семье своей Достоевский нашел и осуществил свой идеал любви человека к человеку, единокорной жизни и готовности жертвовать собою для других. Здесь он мог сполна проявить всю нежность, таившуюся в глубине его души. Но, конечно, свою потребность в осуществлении совершенного добра Достоевский не мог удовлетворить целиком одною лишь семейною жизнью. Смолоду его увлекает идеал абсолютного совершенства не только в личной и семейной жизни, но и в жизни общественной и всемирной. Все «великое и прекрасное» волнует его до глубины души, он ищет абсолютного добра, не запятнанного ни малейшею примесью эгоистической, ограниченности и какого бы то ни было зла; иными словами, он ищет добра, осуществимого не иначе как в Царстве Божиим.

Девятнадцатилетним юношею он пишет брату Михаилу: «...я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им»; он старается понять и найти в жизни «благородного, пламенного Дон-Карлоса, и Маркиза Позу, и Мортимера»; имя Шиллера, говорит он, «стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний». В том же письме он восторгается величиим образов в трагедиях Корнеля и Расина. «Прочти, — советует он

брату, — особенно разговор Августа с Sinna, где он прощает ему измену (но как прощает!). Увидишь, что так только говорят оскорбленные Ангелы» (1, № 16, 1.1.1840).

Такие вкусы и интересы, какие проявляет молодой Достоевский, неизбежно приводят к увлечению проблемами общественной жизни. Страстное искание путей к осуществлению социальной справедливости одушевляло Достоевского с юности до конца жизни. В «Дневнике Писателя» он рассказывает, как в мае 1837 г., будучи шестнадцатилетним юношей, он ехал с отцом и братом Михаилом в Петербург определяться в Инженерное училище. Путешествие длилось почти неделю.

«Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем прекрасном и высоком» — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я непрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе. Прямо против постоялого двора, через улицу, приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назад, в большой трехугольной шляпе. Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и, уж наверно, «хлопнул» там рюмку водки. Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа в руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбегал со ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов поднял свой здоровенный правый кулак и сверху больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут, изо всей силы схлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец, нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его уже все знают. Эта отвратительная картина осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом склонен был объяснять, уж конечно, слишком односторонне».

«Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их народится) будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы» («Дневник Писателя», 1876, январь).

В возрасте 25 лет, познакомившись с Белинским, Достоевский под влиянием бесед с ним стал интересоваться идеями социализма, нравственно обоснованного и проникнутого возвышенными гуманными настроениями. В 1847 г. он стал посещать собрания кружка «петрашевцев», члены которого увлекались главным образом идеями социализма Фурье.

Участие в этом кружке едва не закончилось для Достоевского смертной казнью и привело его к каторге.

Глубокие потрясения, перенесенные им, и расширение опыта благодаря жизни среди простого народа сначала на каторге, а потом среди солдат на военной службе в Сибири произвели существенные изменения в мировоззрении Достоевского. Он понял недостатки социализма как попытки *внутренне* усовершенствовать человечество *внешними* средствами новой социальной системы. Он и раньше догадывался, что это невозможно. Образ Христа, любимый им и раньше, выдвинулся теперь для него на первый план. Жажда социальной справедливости продолжает сохраняться в нем, но средства для осуществления ее он ищет в области духа, а не во внешнем строе общества. Любовь к России и русскому народу, всегда присущая Достоевскому, вместе с христианскими идеалами выдвинулась в мировоззрении и деятельности его на первое место. Он мечтает о «всемирном примирении народов» с помощью России.

Службу России и всему человечеству Достоевский осуществил после каторги не участием в революционном кружке, а своим гениальным художественным творчеством и писанием публицистических статей. Под конец жизни Достоевский стал для множества людей духовным руководителем: ежедневно он получал письма со всех концов России и принимал посетителей, просивших совета, наставления, указания жизненного пути. Эта деятельность Достоевского была подобна общественному служению русского «старца» в монастыре, вроде старца Амвросия, виденного им в Оптиной пустыни, или сотворенного его фантазией старца Зосимы в «Братьях Карамазовых».

Мечты и мысли Достоевского о всемирном счастье, увлекавшие его в течение всей жизни, достигли наиболее яркого выражения за полгода до его кончины в речи о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. В конце ее он уверенно говорит: «Будущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное Слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».

Божественная гармония, снимающая все противоречия, была для Достоевского не абстрактною мыслью и не бесплотною мечтою фантазии, а живою *данною опыта*, настолько превосходящего условия земной жизни, что видение ее заканчивалось для него утратою сознания. Об этом опыте, предшествующем эпилептическому припадку, Достоевский рассказывает в романе «Идиот» от имени князя Мышкина.

«В эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясней, гармоничной радости и надежды. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок.

В здоровом состоянии он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и «высшего бытия», не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако же он все-таки дошел, наконец, до чрезвычайного парадоксального вывода: «Что же в том, что это болезнь, —

решил он, наконец, — какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, мерь(, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни». Эти туманные выражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слишком слабыми. В том же, что это действительно «красота и молитва», что это действительно «высший синтез жизни», в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилием самосознания, — если бы надо было выразить это состояние одним словом, — самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, т. е. в самый последний сознательный момент пред припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: «Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!», то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни».

Еще ярче изображает этот опыт Кириллов в беседе с Шаговым: «Есть секунды, их всего за раз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: «Да, это правда». Бог когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о, — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически» («Бесы», ч. III, гл. V, 5).

Если бы душевная жизнь Достоевского руководилась одними лишь добрыми чувствами и возвышенными стремлениями, о которых шла речь выше, то Достоевский весьма приближался бы к святости. Но у него была и другая сторона души, уходящая глубоко в область подземного хаоса. «У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие», — признает он сам в одном из писем к брату Михаилу (I, № 33). Яновский указывает на его «беспримерное самолюбие и страсть порисоваться» (стр. 819). Расхваленный Некрасовым и Белинским после знакомства их с рукописью «Бедных людей», Достоевский вошел в литературные круги Петербурга сразу как признанный писатель. Голова у него закружилась от упоения своим успехом.

«Ну, брат, — пишет он Михаилу, — никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогей, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: «Кто это Достоевский? Где мне *достать Достоевского?*» Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что Достоевский не захочет вам сделать чести осчастливить вас своим посещением. Оно и действительно так: (мерзавец) аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностью, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня» (I, № 31).

«Явилась целая тьма новых писателей, — говорит Достоевский через несколько месяцев. — Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест, и надеюсь, что навсегда» (I, № 33).

Ему кажется, что он уже превзошел Гоголя: «Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя: во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезисом, т. е. иду в глубину, а разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь. А у меня будущность преблистательная, брат!» (I, № 32).

До конца жизни его душу грызет беспокойное и ревнивое опасение оказаться ниже других писателей; оно принимает иногда характер мелкого тщеславия. В семидесятых годах, вернувшись с одного литературного вечера, Достоевский рассказывал дома, что Тургеневу и ему было поднесено по венку: «Мне большой, а Тургеневу маленький» (эти слова мне переданы лицом, слышавшим их).

После громадного успеха «Бедных людей» ряд следующих произведений Достоевского, «Двойник» и дальнейшие рассказы его, были встречены несочувственно. Белинский вместе с другими писателями стали сомневаться в таланте Достоевского и писать о нем отрицательно. Колкое самолюбие и притязательное честолюбие его стало вызывать ядовитые насмешки. Панаева, говоря о Достоевском в своих «Воспоминаниях», рассказывает, что «... по молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями.

С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перебивать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые взболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался... У Достоевского явилась страшная подозрительность... Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду» (*Авдотья Панаева (Е. А. Головачева). «Воспоминания». Испр. изд. под ред. Корнея Чуковского. 11.1927, стр. 196—198).*

Обиженный насмешками и вместе с тем сам отчасти недовольный собою вследствие сознания недостатков своих новых произведений, Достоевский дошел до крайнего расстройства своего здоровья. У него появляются сердцебиения, приливы крови к голове, начинаются эпилептические припадки, сначала в легкой степени (в 1846 г.), потом все более сильные. Он был близок к душевной болезни и дошел до галлюцинаций. Угнетенное состояние его доходит иногда до такой степени, что он хотел бы умереть, броситься в Неву.

Чтобы не уезжать в провинцию, а главное, чтобы вполне свободно отдаться литературной деятельности, Достоевский вышел в октябре 1844 г. в отставку из Инженерного корпуса. Яновский говорит, будто поводом к этому решению был неблагоприятный отзыв императора Николая I об одной из чертежных работ Достоевского (стр. 800); сам

Достоевский признавал впоследствии, что он вышел в отставку, «сам не зная зачем, — с самыми неясными и неопределенными целями» («Дн. Пис.», 1877, январь). Без сомнения, основным мотивом было желание свободы, чтобы всецело отдаться литературной деятельности.

Оставшись без средств, Достоевский стал часто попадать в отчаянное положение, заставляющее, работать торопливо, тогда как хотелось бы вынашивать и отделывать свои произведения, подобно Пушкину, Гоголю и другим великим писателям.

«На что мне тут слава, когда я пишу из хлеба», — говорит он уже по поводу первой своей повести «Бедные люди»; эту свою первую работу он хочет оплатить долг за квартиру, а «если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь». В декабре 1846 г. он пишет брату: «Беда работать поденщиком. Погубишь все: и талант, и юность и надежду, омерзает работа, и сделаешься наконец пачкуном, а не писателем» (№ 42). Ему нередко приходит в голову мысль утопиться.

Раздражение свое, особенно когда задето самолюбие, он готов выместить не только на себе самом, но и на других. В 17-летнем возрасте, не выдержав экзамена, он говорит о своем «оскорбленном самолюбии» и заявляет, что ему «хотелось бы раздавить весь мир за один раз» (№ 12). Став писателем, он приравнивает себя к самым ничтожным из своих героев, к Голядкину, к Фоме Опискину (№ 29, 75).

Крайняя степень ущемленного самолюбия, жалкой сосредоточенности на себе и жестокого безоглядного эгоизма изображена Достоевским в «Записках из подполья» (напечатано в 1864 г.). В этой повести Достоевский раскрыл «подполье» в душе человека гораздо худшее, чем все, что нашел в ней Фрейд. Он открыл помойную яму не только в других людях, а и в самом себе. В самом деле, он задумал и начал писать эту повесть в знаменательную пору своей жизни — в конце 1863 и начале 1864 года. За пятнадцать лет до этого периода, в 1848 г., он был близок к душевной болезни, от которой его спасло потрясение ареста, суда и жизни в новых условиях на каторге (См. письмо к д-ру Яновскому, № 398, Письма, т. III. ² *Aimee Dostoievsky. Vie de Dostoievsky par sa fille*, 120—136).

Однако, вернувшись из Сибири, Достоевский в течение пяти лет опять накопил немало тяжелых переживаний. Журналы «Время» и «Эпоха», главным руководителем которых был он, подвергались всевозрастающей травле левой печати. Она глубоко задевала и самолюбие Достоевского, и дорогие ему идеалы «почвенничества». Ему было тем тяжелее, что он, без сомнения, в то же время видел и недостатки своего творчества: обладая громадным талантом и сознавая его в себе, он вместе с тем понимал, что до сорока лет ему не удалось написать ни одного подлинно значительного произведения, кроме отчасти автобиографических «Записок из Мертвого дома».

И семейная жизнь его с Марией Дмитриевной была крайне неблагополучна. Мария Дмитриевна после смерти своего первого мужа Исаева влюбилась в молодого, красивого, но не обладавшего никакими дарованиями учителя Вергунова. Достоевский знал об этом и, будучи страстно влюблен в Марию Дмитриевну, желая жениться на ней, тем не менее великодушно хлопотал о приличном месте для Вергунова, которое дало бы возможность ему жениться на Марии Дмитриевне. Хлопоты эти не удались, и в конце концов Мария Дмитриевна вышла замуж за Достоевского. Однако и после брака она сохраняла глубокий интерес к Вергунову.

По словам Любови Достоевской, Мария Дмитриевна перетащила Вергунова за собою из Кузнецка в Семипалатинск, а потом в Тверь. Весьма вероятно, что чувства ее к Вергунову были источником глубоких мучений ревности для Достоевского; дочь его утверждает, что они послужили материалом для повести «Вечный муж» (См. *Долинин*. «Достоевский и Сулова», в сборнике «Достоевский», т. II. 1925, стр. 176 с.). Через год после смерти жены Достоевский писал Врангелю: «Мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру)»; тем не менее «мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу» (№ 221, 31. III.65).

Приблизительно за полтора года до смерти жены Достоевский начал изменять ей, вступив в связь с молоденькою девушкою Аполлинариею Суловою. Это была начинающая писательница 22 лет, приславшая в 1861 г. в редакцию журнала «Время» свой первый рассказ и таким образом познакомившаяся с Достоевским, талантом которого она увлекалась. В 1863 году ясно обнаружился смертельный характер туберкулеза Марии Дмитриевны, и потому Достоевский, конечно, не мог поднять вопроса о разводе с нею. Впрочем, развод, вероятно, *vt* не привел бы к цели, потому что Сулова уже разочаровалась в своих отношениях к Достоевскому.

В начале лета 1863 г. она уехала за границу и в черновике одного, из писем к Достоевскому говорит, что никогда не краснела за свою любовь к нему, однако «краснела за наши прежние отношения, но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу». Далее она поясняет, что было оскорбительно для нее в их отношениях: «Они для тебя были приличны. Ты вел себя как человек серьезный, занятой, который не забывает и наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ уверял даже, что нужно пьяным напиться раз в месяц. Ты не должен сердиться, что я выражаюсь легко, я ведь не очень придерживаюсь форм и обрядов».

В августе Достоевский, несмотря на болезненное состояние жены, уехал за границу в Берлин и затем в Париж к Суловой. Она встретила его словами, что он приехал слишком «поздно». Она уже полюбила молодого испанца, студента-медика Сальвадора.

Федор Михайлович, говорит она в своем «Дневнике», узнав об этом, «упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал: «Я потерял тебя, я это знал» (А. П. Сулова. «Годы близости с Достоевским», 1928, стр. 51.).

Связь с Сальвадором оказалась чрезмерно кратковременною. Через несколько дней после приезда Достоевского ясно обнаружилось, что молодой испанец не любит Сулову и всячески старается от нее отделаться. Оскорбленная Сулова совершенно потеряла самообладание и могла бы совершить какой-либо безумный акт мести, если бы не было вблизи нее Достоевского. Уже в день своей первой встречи с Суловой Достоевский предложил ей «оставаться в дружбе с ним» и поехать с ним попутешествовать по Италии, причем он будет с ней «как брат». Через неделю они действительно отправились вместе в Италию, остановились по дороге на несколько дней в Баден-Бадене, где Достоевский увлекся игрою в рулетку.

Инфернальная природа Суловой обнаружилась во время этого путешествия в полной мере. Она допускала большую близость к себе со стороны Достоевского, забывшего свое обещание питать к ней только чувства брата, доводила его до белого каления и в то же время оставалась недоступною для него. Две сцены, описанные ею в «Дневнике», ясно

обрисовывают эту игру в кошку и мышку. В Баден–Бадене Достоевский и Сусллова сидели вечером в гостинице в комнате Суслловой.

«Я устала, — пишет Сусллова, — легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Я взяла его руку и долго держала в своей. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие около кровати, и так же поспешно воротился и сел». В ответ на расспросы Суслловой он признался, что хотел поцеловать ее ногу.

«Ах, зачем это?» — сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрала ноги. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это. «И мне неловко», — сказал он со странной улыбкой».

Она стала выпроваживать его, говоря, что хочет спать. «Он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу». На следующий день Достоевский «напомнил о вчерашнем дне и сказал, что мне, верно, неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом предмете, так что он не мог иметь ни надежды, ни безнадежности» (58 с.).

Почти через месяц в Риме Сусллова пишет в дневнике: «Вчера Федор Михайлович опять ко мне приставал. Ему, по–видимому, хотелось знать причину моего упорства. У него была мысль, что это каприз, желание помучить. «Ты знаешь, — говорил он, — что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться». Через несколько времени он «серьезно и печально» стал жаловаться на то, как ему «нехорошо».

«Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно».

Вечером этого дня Достоевский сидел в комнате у Суслловой, причем она «раздетая лежала в постели; Федор Михайлович, уходя от меня, сказал, что ему унижительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи), ибо россияне никогда не отступали».

Можно представить себе невыносимые истязания, которым подвергала Сусллова Достоевского, если принять в расчет карамазовскую напряженность его сексуальных переживаний, намеки на которую сохранились в обрывках фраз некоторых его писем.

О мучительном характере Аполлинарии Суслловой мы знаем не только из ее «Дневника», но и из одного письма В. В. Розанова, который женился на ней, когда ей было сорок лет, а ему 24 года, и через шесть лет разошелся с нею. Розанов называет Сусллову Екатериною Медичи: «Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы слишком равнодушно; стреляла бы в гугенотов из окна в Варфоломеевскую ночь — прямо с азартом. Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна; я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница поморского согласия или еще лучше — хлыстовская богородица».

После путешествия по Италии Сусллова и Достоевский в октябре расстались в Берлине: Сусллова поехала в Париж, а Достоевский, вместо того чтобы прямо отправиться домой, заехал в Бад–Гомбург и там проигрался в рулетку дотла. Ему пришлось обратиться за деньгами к Суслловой, которая, заложив часы и цепочку, прислала ему 350 франков.

Все, что Достоевский пережил в своих отношениях к Марии Дмитриевне, а потом к Аполлинарии Суслловой, различными способами отразилось в его творчестве. Великодушная

Часть I ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Книжная лавка <http://ogurcova-portal.com/>

готовность пожертвовать своим личным счастьем, проявленная Достоевским во время ухаживания за Мариєю Дмитриевною, изображена в «Униженных и оскорбленных» в поведении молодого писателя Ивана Петровича, влюбленного в Наташу, но самоотверженно поддерживающего ее любовь к Алеше. Низменные муки ревности составляют содержание повести «Вечный муж». Характер Суловой, по-видимому, выражен различными способами в образах сестры Раскольникова Дуни, Настасьи Филипповны, Катерины Ивановны и особенно Полины в романе «Игрок».

Во время поездки с Суловой Достоевский задумал роман «Игрок» и повесть «Записки из подполья». Первую часть «Записок из подполья» он написал в те месяцы, когда умирала его жена (она скончалась 15 апреля 1864 г.), а вторую часть — в ближайшее время после ее кончины.



Повесть эта выражает крайнюю степень неустроенности человеческой души. Герой ее, подпольный человек, сознает, что в душе его «кишат противоположные элементы». Он способен мечтать о любви к человеку, о всем, что «прекрасно и высоко», он способен приходить в умиление от малейшей ласки и доброго внимания к нему, но в то же время он и мелочно эгоистичен, и низменно тщеславен, подозрителен; во всех он видит к себе действительное или чаще мнимое отвращение, в себе и в других людях в каждом добре он легко открывает неполноту его, условность и даже примесь дрянца; поэтому он насмехается над «прекрасным и высоким»; на все проявления, свои и чужие, он отвечает словом «нет», протест против всех содержаний жизни выражается у него в злобных выходках, но и злоба эта мелкая, чаще всего сводящаяся к терзанию самого себя; он отстаивает

свою свободу и осмеивает детерминистические теории, согласно которым если раздраженный человек хочет кому-либо «кукиш показать», то можно наперед вычислить, какими пальцами он это сделает; он возмущен теориями, согласно которым вся нравственность есть искание человеком своей выгоды, и обеспечение человека экономическими благами будет источником совершенного счастья; но и справедливый этот протест против теорий, принижающих человека, выражается у него в отталкивающей форме: он говорит, что для человека «упрямство и своеволие» часто бывает «приятнее всякой выгоды», «свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту». «Дважды два — четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два — четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два — четыре превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два — пять премилая иногда вещица» (I, 7, 9). «Любить у меня — значило тиранствовать и нравственно превосходствовать» (II, 10).

Изображение «подполья» в человеческой душе Достоевский задумал и осуществил в то время, когда это подполье должно было особенно ясно открыться ему в себе самом: он только что пережил ряд унижительных положений в отношении Суловой; он предпринял путешествие с Суловою во время тяжелой болезни жены и, вернувшись к жене, описывал

свое подполье во время ее медленного умиранья; перед тем он испытал несколько раз безумный и унижительный азарт игры в рулетку; в деньгах он всегда нуждался и, не умея с ними обращаться, часто доводил себя до унижительного положения; произведения его и любимые общественные идеи («почвенничество») подвергались травле, чаще всего глубоко несправедливой. Без сомнения, Достоевский, живший больше в мире своих фантазий, чем действительности, удесятерил испытываемые им бедствия, дополняя их мазохистическими и садистическими (не в сексуальном смысле, конечно) терзаниями в своем воображении. Все виды зла, создаваемого раздраженным себялюбием, были осознаны Достоевским в этих фантазиях, и в своих «Записках из подполья» он изобразил антигероя, подпольного человека, - как отталкивающее дрянцо, очищая этим творческим актом свою собственную душу.

Есть основания думать, что Достоевский сам полусознавал катартическое значение своих «Записок из подполья». В конце «Записок» он говорит от имени своего героя: «Мне было стыдно все время, как я писал эту повесть: стало быть, это уже не литература, а исправительное наказание». Брату Михаилу он пишет, - что его повесть «будет вещь сильная и откровенная; будет правда» (№ 196). Он хочет написать ее хорошо и прибавляет, подчеркивая, «самоу мне это надобно» (II, — № 191, стр. 613).

Предвосхищая теории Фрейда, Достоевский говорит, что если записать свою исповедь, сделанную перед самим собою, то «суда больше над собою будет»; «кроме того, может быть, я от записывания действительно получу облегчение; одно воспоминание мучит неотвязно; я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется» (I, 11).

Подполье, найденное Достоевским в своей душе, выражалось у него самого не столько во внешних поступках, сколько в чувствах, неосуществленных стремлениях и образах фантазии его. Были, однако, две области проявлений его души, в которых он доходил и в молодости, и после «Записок из подполья» до поступков весьма отрицательного характера. Это — увлечение игрою в рулетку со всеми последствиями его и проявления бешеной ревности.

Раньше чем говорить о рулетке, нужно сказать вообще несколько слов об отношении Достоевского к деньгам. Поразительно его неумение обходиться с ними. В ноябре 1843 г. Достоевский получил из Москвы от опекуна 1000 рублей и тотчас же проиграл их на бильярде; пришлось поэтому занять 300 рублей у ростовщика под огромные проценты да, кроме того, просить мужа сестры о присылке 150 рублей. Через два месяца ему опять выслали из Москвы 1000 рублей, «но уже к вечеру в кармане у него, по свидетельству г. Ризенкампа, оставалось всего 100 рублей; в тот же вечер и эти деньги ушли на ужин в ресторане Доминика и на игру в домино» (О. Миллер).



Имея в виду свою беспечность в денежных делах, Достоевский называл себя мистером Микобером (О месте «Записок из подполья» в жизни Достоевского см. исследования Долинина «Достоевский и Суслова», Сборник «Достоевский», т. II, 1925.² А. Г. Достоевская. «Воспоминания», 127).

Унижительная зависимость от денег, естественно, наталкивала ум и фантазию Достоевского на вопрос о могуществе, даваемом богатством. Тема «Пиковой дамы» и «Скупого рыцаря», обогащение путем игры или путем медленного накопления, глубоко волновала его и обработана в его произведениях (См. исследование А. Бема «Пушкин и Достоевский» в сборнике статей А. Бема «У истоков творчества Достоевского», Петрополис, Берлин, 1936.).

Мало того, попытки внезапного обогащения игрою на рулетке много раз повторял он в своей жизни, доходя до крайнего исступления и унижения. В 1865 г., проигравшись в Висбадене, Достоевский сидел несколько недель в гостинице в ожидании денег от Суловой, или от Герцена, или от петербургских издателей, или от Врангеля и питался в это время только чаем.

«Толстый немец-хозяин, — пишет он Суловой, — объявил мне, что я не «заслужил» обеда и что он будет присылать мне только чай. Да и чай подают прескверный, платье и сапоги не чистят, на мой зов нейдут и все слуги обходятся со мной с невыразимым, самым немецким презрением» (I, № 230).

В 1867 г., женившись на молоденькой Анне Григорьевне Сниткиной, Достоевский отправился с нею за границу; здесь он в первые же месяцы проиграл в Бад-Гомбурге и в Баден-Бадене все деньги, взятые для поездки, и принужден был, ожидая авансов за «Идиота», продавать и закладывать свои и любимые женины вещи. Возвращаясь в гостиницу после катастрофических проигрышей, Достоевский нередко рыдал, «бил себя в голову, бил кулаком об стену», говорил, что «непременно сойдет с ума или застрелится». Измученный этим тяжелым положением, он однажды ночью заявил, что «выскочит из окна», «и вдруг, ни с того, ни с сего, сказал, что ненавидит меня», пишет Анна Григорьевна в своем дневнике. Во время игры он нередко приходил в состояние крайнего возбуждения. Однажды жена вызвала его из игорного зала.

«Он вышел, — говорит она, — но взглянуть на него было просто страшно: весь красный, с красными глазами, точно пьяный».

Получив деньги от матери Анны Григорьевны и, кроме того, немного выиграв на рулетке, Достоевские решили уехать в Женеву, но Федор Михайлович и тут не удержался, стал играть и спустил почти все деньги, так что едва осталось на оплату дороги. Придя домой, «он стал передо мною на колени, — пишет жена, — и просил его простить, говорил, что он подлец, что он не знает себе наказания» (Дневник А. Г. Достоевской (1923), стр. 211—238, 281, 288, 301, 302, 339—350).

Через полгода, когда уже родилась дочь София, Достоевский поехал из Женевы в Saxon les Bains и в полчаса проиграл все взятые деньги. В письме к жене, прося прислать сто франков, он говорит: «...я тебя бесконечно люблю, но мне суждено судьбой всех тех, кого я люблю, мучить» (II, № 303).

В тот же день вечером он шлет жене второе письмо с сообщением о закладе обручального кольца за 20 франков и проигрыше этих денег. Теперь мучения его особенно тяжелы, потому что он чувствует себя не только плохим мужем, но и недостойным отцом. Он считает этот проигрыш «последним и окончательным уроком».

«Я верю, что, может быть. Бог, по своему бесконечному милосердию, сделал это для меня, беспутного и низкого, мелкого игровишки, вразумив меня и спасая меня от игры — а стало быть, и тебя, и Соню, нас всех, на все наше будущее» (II, № 304).

После этого урока Достоевский три года, вплоть до апреля 1871, не играл на рулетке. Длительное пребывание за границей надоело ему; он писал в это время роман «Бесы» и считал, что отрыв от родины губителен для его таланта.

Часть I ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Книжная лавка <http://ogurcova-portal.com/>

«Чтобы успокоить его тревожное настроение, — пишет его жена в своих «Воспоминаниях», — и отогнать мрачные мысли, мешавшие ему сосредоточиться на своей работе, я прибегла к тому средству, которое всегда рассеивало и развлекало его. Воспользовавшись тем, что у нас имелась некоторая сумма денег (талеров триста), я завела как-то речь о рулетке, о том, отчего бы ему еще раз не попытаться счастья. Конечно, я ни минуты не рассчитывала на выигрыш и мне очень было жаль ста талеров, которыми приходилось пожертвовать, но я знала из опыта прежних его поездок на рулетку, что, испытав новые бурные впечатления, удовлетворив свою потребность к риску, к игре, Федор Михайлович вернется успокоенным, и, убедившись в тщетности его надежд на выигрыш, он с новыми силами примется за роман и в 2—3 недели вернет все проигранное».

Достоевский поехал в Висбаден, проиграл взятые с собою 120 талеров, попросил телеграммою жену прислать 30 талеров для возвращения домой, но вместо того проиграл и эти деньги и принужден был писать подробное покаянное письмо с просьбою прислать еще тридцать талеров.

«Есть несчастья, — пишет он, — которые сами в себе носят и наказание. Пишу и думаю: «Что с тобою будет? Как на тебя подействует, не случилось бы чего!» (Жена была беременна.)

«За эти 30 талеров, которыми я ограбил тебя, мне так стыдно было. Веришь ли, ангел мой, что я весь год мечтал, что куплю тебе сережки, которые я до сих пор не возвратил тебе. Ты для меня все свое заложила в эти 4 года и скиталась за мною в тоске по родине! Аня, Аня, вспомни тоже, что я не подлец, а только страстный игрок. Но вот что вспомни *еще*, Аня, что эта фантазия кончена навсегда. Я и прежде писал тебе, что кончена навсегда, но я никогда не ощущал в себе этого чувства, с которым теперь пишу. О, теперь я развязался? этим сном и благословил бы Бога, что так это устроилось, хотя и с такой бедой, если бы не страх за тебя в эту минуту. Я как будто переродился весь нравственно (говорю это и тебе и Богу), и если б только не мучения в эти три дня за тебя, если б не дума поминутно «Что с тобою будет?», то я даже был бы счастлив. Не думай, что я сумасшедший, Аня, ангел-хранитель мой! Надо мною великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, *мучившая* меня почти десять лет. Десять лет (или лучше с смерти брата, когда я вдруг был подавлен долгами) я все мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено. Это был *вполне* последний раз! Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой, я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. Нет, уже теперь твой, твой, нераздельно весь твой. А до сих пор *наполовину* этой проклятой фантазии *принадлежал*» (II, № 380, 28. IV.1871).

С этих пор Достоевский, действительно, больше никогда не играл на рулетке, хотя и ездил за границу часто.

Страстные проявления игры на рулетке были унизительны, но еще хуже были проявления ревности Достоевского, иногда комические, а иногда и зверские. В 1876 г., когда Достоевскому было 54 года и после девяти лет согласной семейной жизни он мог хорошо знать глубокую преданность себе и честность своей жены, произошла следующая история. Достоевский прочитал роман, герой которого получает безграмотное и нелепое анонимное письмо с сообщением, что жена ему изменяет и в медальоне на сердце носит портрет своего любовника. Анне Григорьевне пришла в голову «шаловливая мысль переписать это письмо (изменив и вычеркнув две-три строки, имя, отчество) и послать его на имя Федора Михайловича». Получив письмо, Достоевский гневно посмотрел на жену и подошел ней.

— Ты носишь медальон? — спросил он каким-то сдавленным голосом.

— Ношу.

— Покажи мне его.

— Зачем? Ведь ты много раз его видел.

— Покажи медальон! — закричал во весь голос Федор Михайлович; я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтоб успокоить его, стала расстегивать ворот платья.

Но я не успела сама вынуть медальона: Федор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая им же самим купленная в Венеции цепочка. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошел письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Федор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец муж справился с пружинкой, открыл медальон и увидел с одной стороны — портрет нашей Любочки, с другой — свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал.

— Ну что, нашел? — спросила я. — Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?

Федор Михайлович живо повернулся ко мне.

— А ты откуда знаешь об анонимном письме?

— Как откуда? Да я тебе сама его послала.

— Как сама послала, что ты говоришь? Это невероятно.

— А я тебе сейчас докажу.

Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка «Отечественных Записок», порылась в ней и достала несколько почтовых листков, на которых вчера упражнялась в изменении почерка.

Федор Михайлович даже руками развел от изумления.

— И ты сама сочинила это письмо?

— Да и не сочиняла вовсе. Просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал: я думала, что ты сразу догадаешься.

— Ну где же тут вспомнить. Анонимные письма все в таком роде пишутся. **Не** понимаю только, зачем ты мне его послала.

— Просто хотела пошутить, — объяснила я.

— Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился за эти полчаса.

— Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену.

— В этих случаях не рассуждают. Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности.

— Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю «истинной ревности», так уж в этом ты сам виноват: зачем ты мне не изменяешь, — смеялась я, желая рассеять его настроение, — пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя: я бы тебя не тронула, но уж зато ей, злодейке, выцарапала бы глаза...

— Вот ты все смеешься, Анечка, — заговорил виноватым голосом Федор Михайлович, — а подумай, какое могло бы произойти несчастье. Ведь я в гневе мог задушить тебя. Вот именно можно сказать: Бог пожалел наших деток. И подумай, хоть бы я и не нашел портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю.

Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком и на нем оказалась полоска крови: очевидно, сорванная с силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришел в отчаяние и стал так же бурно просить прощения, как раньше яростно нападал (А. Г. Достоевская. «Воспоминания», стр. 209—212, другие примеры не менее нелепых, но комических проявлений ревности описаны в «Воспоминаниях» иа стр. 170—172, 247—249).

«Натура моя подлая и слишком страстная, — характеризует Достоевский сам себя в письме к А. Н. Майкову, — везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил» (№ 279, 16. VIII.67).

Даже мелочи повседневной жизни выражались иногда у Достоевского так, как будто они были серьезными событиями. М. Н. Стоюнина бывала свидетельницей того, как Достоевский, уходя из дому и заметив в передней, что у него нет чистого носового платка, кричал оттуда жене: «Анна Григорьевна, платок!» — таким трагическим голосом, как будто весь мир рушится.

А. Н. Майков в письме к своей жене, жившей летом 1879 г. в Старой Руссе вблизи от Достоевских, спрашивает ее: «Что же это такое, наконец, что тебе говорит Анна Григорьевна, что ты писать не хочешь? Что муж ее мучителен, в этом нет сомнения, невозможностью своего характера — это не новое, грубым проявлением любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии, — все это не ново. Что же так могло поразить тебя и потрясти?» («Достоевский», под ред. Долинина, т. II, 175).

Н. Н. Страхов, написавший вскоре после смерти Достоевского его биографию, где Достоевский изображен как человек, обладающий высокими достоинствами, обратился по поводу этой биографии со следующим письмом к гр. Л. Н. Толстому: «Хочу исповедаться перед вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением; старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Д. ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю Биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек». Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику *гуманности* и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии *о правах человека*.

Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал на его выхода», которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне случилось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь читал ее многим.

При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют *самооправдание*, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости».

Далее Страхов пишет, что он мог бы рассказать в биографии об отрицательных чертах характера Достоевского, тогда «рассказ вышел бы гораздо правдивее, но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во

всем» (Письмо это от 26. XI.1883 перепечатано в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской (стр. 285), которая показывает, как много в нем неправды).

Серьезные исследователи приходят к убеждению, что никакого преступления в бане Достоевский не совершал. Гроссман полагает, что если такой рассказ кто-либо и слышал от Достоевского, это был его эпилептический бред. С Висковатовым Достоевский почти не был знаком и, встретив его за границу, писал о его уме и характере крайне пренебрежительно. Преступление в бане, говорит Анна Григорьевна Достоевская, есть «истинное происшествие, о котором мужу кто-то рассказывал»; один из вариантов растления девочки- Ставрогиным состоял из описания этого случая; он был написан Достоевским и прочитан друзьями («Воспоминания», 290).

Черты характера, сообщенные Страховым в письме к Толстому, в значительной степени были присущи Достоевскому, однако в большинстве случаев они выражались лишь в мимолетных движениях его души или в настроениях, в фантастических образах и, может быть, иногда в словах, но не доходили до совершения дурных поступков. Этого было достаточно, чтобы человек, столь чуткий к злу и столь добрый, как Достоевский, приходил в отчаяние от «подполья», найденного им в своей душе и в душе других людей. Мало того, во сне, в сновидениях, он, по-видимому, погружался иногда в царство подлинно сатанинского зла.

«В характере моего мужа, — рассказывает Достоевская, — была странная черта: вставая утром, он был весь как бы под впечатлением ночных грез и кошмаров, которые его иногда мучили, был до крайности молчалив и очень не любил, когда с ним в это время заговаривали» (178). Сонный, он «зверь сущий», — писала Достоевская в своем «Дневнике» через три месяца после свадьбы (Стр. 46. О тяжелом характере Достоевского, но также и о величии его см. «Год работы с знаменитым писателем» В. В. Тимофеевой (О. Починковской), «Истор. Вести.», 1904, II; см. также Е. А. Штакенинейдер. «Дневник и записки», 1934).

Тайна личности Достоевского заключается именно в наличии у него двух ярко выраженных крайних полюсов опыта: перед приступами эпилепсии он вступал в царство райской гармонии, в ночных кошмарах он переживал сатанинское зло. В душе его было нарушено земное равновесие; приобщаясь к двум «иным мирам». Царству Божию и царству сатаны, Достоевский и в повседневной жизни, з особенностями благодаря творческой силе фантазии, удесятерившей содержание всякого найденного им в себе и других переживания, постоянно колебался между титаническими страстями, раздирающими душу, и просветлениями души, восходящими до порога святости.

Для окончательной оценки личности Достоевского нужно иметь в виду высокие проявления его, выразившиеся в законченных действиях, составляющих главное содержание его жизни; таковы — возвышенный характер его художественного творчества, выработанное им христианское мировоззрение, сущность которого будет предметом изложения всей книги, и множество добрых дел деятельной любви, совершенных им в жизни. Если же кто хотел бы очернить Достоевского, ссылаясь на темные стороны его характера, тому следует напомнить пословицу: случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться.

В заключение укажу, что приступы мрачного настроения, угрюмости, неразговорчивости Достоевского часто были связаны с припадками разнообразных мучительных болезней его. Почти в течение всей жизни ему случалось испытывать приливы крови к голове и сердцебиения. Весною часто у него было обострение геморроя, столь болезненное, что он иногда не мог «ни стоять, ни сидеть» (письмо № 241). После припадков эпилепсии у него

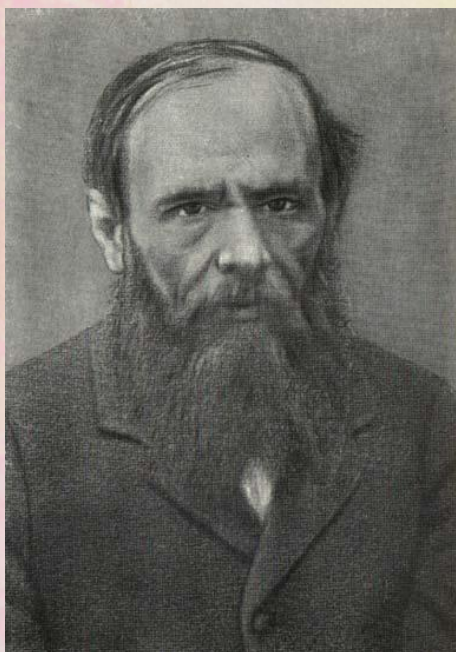
бывало по несколько дней мрачное настроение, безотчетное чувство вины, «мистический ужас» и ослабление памяти до такой степени, что он не узнавал знакомых, от чего возникали обиды.

В течение последних восьми лет Достоевский страдал от эмфиземы легких, которая и свела его в могилу. Поднимаясь на лестницу, идя в гости, Достоевский задыхался.

«Наше восхождение в третий, четвертый этаж, — пишет Достоевская, — длилось минут 20—25, и все-таки Федор Михайлович приходил ослабевший, измученный, почти задохнувшийся. Нас часто обгоняли знакомые и извещали хозяев, что Федор Михайлович сейчас будет их гостем. А приходил Федор Михайлович иногда только через полчаса, отсиживаясь на ступенях лестницы. «Ну как же не «олимпиец», когда так долго заставляет ждать своего появления?» — думали и говорили неприязненно настроенные против него лица. Извещенные хозяева, а иногда и поклонники Федора Михайловича выходили навстречу ему в переднюю, забрасывали его приветствиями, помогали ему снять шубу, шапку, кашне (а больному грудью так трудно проделывать лишние и ускоренные движения), и Федор Михайлович входил в гостиную окончательно обессиленный и не могущий произнести ни одного слова, а только старающийся хоть немного отдышаться и прийти в себя. Вот истинная причина его мрачной внешности в тех случаях, когда ему приходилось бывать в обществе. Большинство знавших его лиц до самого рокового конца не придавало значения его грудной болезни, а потому, по свойственной людям слабости, способно было объяснять его мрачность и неразговорчивость качествами, совсем несвойственными благородному, возвышенному характеру моего мужа» («Воспоминания» А. Г. Достоевской, 262, 239 с.; Биография, письма и заметки. Н. Страхов, стр. 317; А. П. Милюков. «Русская старина», 1881, май, 50 с.).

На следующий день после кончины Достоевского художник Крамской устроил подмостки и с высоты их написал посмертный портрет Достоевского. Просветленное лицо Достоевского на этом портрете производит глубокое впечатление. Портрет этот есть свидетельство того, что смерть Достоевского была моментом окончательного преодоления зла в его душе.

Глава вторая РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ДОСТОЕВСКОГО



Не задаваясь целью писать биографию Достоевского, я коснусь, после данной уже общей характеристики его личности, лишь вопроса о его религиозной жизни и о том, что он сам назвал «перерождением» своих убеждений. Эти биографические данные будут изложены очень сжато, лишь настолько, насколько это полезно для дальнейших глав, характеризующих мировоззрение Достоевского.

Михаил Андреевич Достоевский, отец писателя, врач при Мариинской больнице в Москве, был человек строгий, угрюмый, скупой, подозрительный и вспыльчивый. Нет, однако, оснований считать его извергом и воображать, будто семейная жизнь Достоевских была сплошь мучительной и гнетущей. Есть много данных, свидетельствующих о том, что общий тон семейной жизни Достоевских был положительный. В вступительной статье к «Воспоминаниям» Андрея Михайловича Достоевского сын его говорит, что слухи «о демонической мрачности,

болезненной скупости, дефективной жестокости» Михаила Андреевича ложны; в действительности он был человек добрый, но вспыльчивый и строгий. О матери своей, Марии Федоровне, Андрей Достоевский говорит как о женщине чрезвычайно доброй, умной, художественно и музыкально одаренной (А. М. Достоевский. «Воспоминания», стр. 6).

За поведением детей родители следили так строго, что, например, даже мальчики Михаил и Федор до 16 лет никогда не выходили одни. Телесных наказаний в семье Достоевских не было. Родители ограничивались выговорами в случае проступков детей. Правда, иногда эти выговоры приобретали характер брани, например, когда отец, обучавший сам детей латыни, вспыхив, называл мальчика «тупицею».

«Отец, по воспоминаниям родственников, — говорит Миллер, — вообще был строг, и няне Елене Фроловне не раз приходилось скрывать от него вины детей и вообще защищать их от родительской грозы». По-видимому, даже и не прибегая к наказаниям, отец своим строгим тоном и внешними формами жизни доводил иногда детей до подавленного состояния. Андрей рассказывает, что, занимаясь у отца латынью, братья «нередко по часу и более не смели не только сесть, но даже и облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди «менса, менсае»... «Братья очень боялись этих уроков. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив; а главное, очень вспыльчив» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, 1883, стр. 12).

Отец и мать Достоевского часто читали вслух вместе романы и серьезные книги. Федор прислушивался к этому чтению; оно имело влияние на его развитие и художественное-творчество; так, например, романы Редклиф приковывали к себе его внимание. Нередко отец читал также и для детей. Он познакомил детей с «Историей государства Российского» Карамзина; для Федора она стала «настолюною книгою» (А. М. Достоевский. «Воспоминания», 94).

«Я возрос на Карамзине», — пишет Достоевский Страхову в 1870 г. (Достоевский: Письма, — т. У, № 360).

Вечером Достоевские всю семью предпринимали иногда прогулки; при этом отец заводил беседы на серьезные темы. Необходимо еще отметить, что родители Достоевского, особенно мать, были религиозны и заботились о религиозном воспитании детей. Рассматривая строй жизни семьи родителей Достоевского, необходимо признать, что она не была «случайною» в том смысле, какой придавал этому выражению Достоевский в «Подростке» (в эпилоге) и в «Дневнике писателя» (1887, июль — август 1,1), имея в виду семьи без выработанных идей чести и долга, существовавших в законченной форме в прежнем русском дворянстве. Посылая своему брату Андрею недавно напечатанный роман «Подросток», Достоевский пишет ему о его семье и о семье своих родителей: «Я, голубчик-брат, хотел бы тебе высказать, что с чрезвычайно радостным чувством смотрю на твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством. По крайней мере, семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и середины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся лучших людей. Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея неперменного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения» (№ 543, 10. III.76).

В конце 70-х гг., беседуя с братом Андреем о родителях, Федор Михайлович воодушевился: «Это были люди передовые... и в настоящее время они были бы передовыми... А уж такими семьянинами... нам с тобою не быть, брат». Нельзя, однако, забывать того, что семейный

порядок сохранялся только в то время, когда была жива мать семьи и пока отец оставался на службе. После смерти жены М. А. Достоевский, летом 1837 г., вышел в отставку, поселился в своем имении и, живя в скучном одиночестве, сбился с пути: он стал пить, сошелся с крепостною женщиною и был убит своими крестьянами.

В разные периоды своей жизни Федор Михайлович различно оценивал общий характер своего детства. Будучи пожилым, он, по словам жены, «охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери. Он особенно любил старшего брата Мишу и старшую сестру Вареньку» (А. Г. Достоевская. «Воспоминания», 56). По-видимому, однако, в молодости Достоевский не считал своего детства «счастливым» и «безмятежным». Доктор Яновский говорит в своих «Воспоминаниях»: «Он сообщал мне многое о тяжелой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, о сестрах и о брате Михаиле Михайловиче; об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать» («Русский Вестник», 1885, IV, 800). Возможно, что в эту пору главным образом мысли о страшной гибели отца, а не воспоминания о его строгости тяготили Достоевского.

Эдипов комплекс, конечно, был в подсознании Достоевского, однако весьма смягченный уважением к отцу и общим высоким тоном семейной жизни родителей, которая была проникнута культурными и религиозными интересами. Возможно, что первым воспоминанием Достоевского, относящимся к двухлетнему возрасту, был следующий случай: мать подвела его к причастию в деревенской церкви, и в это время «голубок пролетел через церковь из одного окна в другое» (Л. Гроссман. Семинарий по Достоевскому, 1922, стр. 66). К числу первых воспоминаний Достоевского, относящихся к трехлетнему возрасту, принадлежит ежедневная молитва с нянею перед сном: «Все упование на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим». Молитву эту Достоевский очень любил и всю жизнь прибегал к ней в трудных случаях. Она входила также в состав молитв, которые он читал вместе со своими детьми перед сном их.

О пробуждении в себе сознательной религиозности в восьмилетнем возрасте Достоевский рассказывает устами старца Зосимы: «В первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное еще восьми лет от роду. Повела меня матушка одного (не помню, где был тогда брат) во храм Господень в Страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая, теперь точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно, и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое семя Слова Божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большою книгою и прочитал начало книги Иова».

Сильное впечатление произвела на ребенка покорность Иова воле Божией: «Буди имя Твое благословенно, несмотря на то что казнишь меня», а затем тихое и сладостное пение во храме: «Да исправится молитва моя», и снова фимиам, кадила священника и коленопреклоненная молитва! С тех пор, даже вчера еще взял ее, и не могу читать эту пресвятую повесть без слез» («Братья Карамазовы», О священном Писании в жизни отца Зосимы, ч. II, гл. II) (Л. Гроссман. Семинарий по Достоевскому, стр. 68).

Закон Божий детям Достоевским преподавал дьякон, обладавший даром слова и умилявший детей своими беседами. Детскую книжку по Священной истории Федор Михайлович хранил всю жизнь как святыню (О. Миллер; А. М. Достоевский, 63 с.). Чтение Евангелия в церкви производило на него всегда большое впечатление (Л. Достоевская, 34). С любимую мать свою, которая была очень религиозна, дети почти ежегодно совершали паломничество на пять–шесть дней в Троице–Сергиевскую лавру. И своим религиозным содержанием, и своим

первостепенным значением в истории России Троице–Сергиева лавра должна была глубоко влиять на детей, воспитанных на Карамзине.

Особенно сильное впечатление производили на Достоевского рассказы народа о христианских мучениках и подвижниках, которые он слышал в детстве от прислуги и крестьян, а потом в остроге среди каторжников.

«Народ наш, — говорил он, — чтит память своих великих и смиренных отшельников и подвижников, любит рассказывать истории великих христианских мучеников своим детям. Эти истории он знает и заучил, и я сам их впервые от народа услышал, рассказанные с проникновением и благоговением и оставшиеся у меня в сердце» («Дневник Писателя», 1877, март, 1, 2). От народа «я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме еще ребенком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в европейского либерала» (Там же, 1880, август. III, 1).

Что именно понимает Достоевский под словами о временной утрате им Христа, когда произошла эта утрата и сколько времени она длилась — для ответа на эти вопросы рассмотрим подробно следы религиозной жизни Достоевского в Инженерном училище, а также по выходе из него вплоть до каторги.

Перед экзаменом для поступления в училище Федор Достоевский вместе со своим братом Михаилом и другом Шидловским провели час в Казанском соборе (письма, № 9, сент. 1837). В Инженерном училище, где Достоевский не только учился, но и жил вплоть до производства в инженер–прапорщики (январь 1838 — осень 1841), религиозность его была столь заметна, что некоторые товарищи его втихомолку подсмеивались над нею (Статья — «К портрету Ф. М. Достоевского», «Истор. Веста.», 1881, III). Но, вероятно, были в училище и воспитанники не менее религиозные, чем Достоевский. За десять лет до его поступления возник в Инженерном училище «Кружок святости и чести» Дмитрия Брянчанинова (будущего епископа Игнатия Брянчаньнова) и Чихачева, и можно думать, что некоторая группа воспитанников продолжала традиции этого кружка (См. Лескова. «Инженеры–бессребреники»).

В письмах Достоевского из училища вплоть до середины 1840 г. чрезвычайно часто встречается имя Божие, упоминания о Провидении, о благодати и. т. п., а в переписке с любимым братом Михаилом — рассуждения в духе христианства о цели жизни, о назначении поэта, о произведениях Гомера, Шиллера, Корнеля, Расина, В. Гюго.

«Атмосфера луци человека, — пишет он брату, — сострит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью» (№ 10, 9. VIII.38).

Он утверждает, быть может, следуя Паскалю, что высшая ступень знания достигается не умом, а сердцем.

«Что ты хочешь сказать словом «знать»? — спрашивает он брата, — Познать природу, душу, Бога, любовь... Это дознается сердцем, а не умом... Заметь, что поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначение философии».

Заканчивая письмо, он просит брата сообщить «главную мысль Шатобрианова сочинения «Гений христианства» (№ 12, 31. X.38).

Когда отец Достоевских был убит, Михаил задумал, получив офицерский чин, поселиться в имении родителей и знаясь воспитанием младших братьев и сестер. Федор пишет Михаилу: «Это воспитание было бы счастье для них. Стройная организация души среди родного семейства, развитие всех стремлений из начала христианского, гордость добродетелей семейственных, страх порока и беславия — вот следствия такого воспитания. Кости родителей наших уснут тогда спокойно в сырой земле» (№ 14, 16. VIII.39. Письма, II, ст. 549).

К этому времени два тяжелых удара были пережиты Достоевским: выдержав хорошо экзамены, он тем не менее был оставлен на второй год на первом курсе училища; об этой несправедливости он пишет брату: «Так хотел один преподающий (алгебры), которому я нагрубил в продолжение года и который нынче имел подлость напомнить мне это, объясняя причину, отчего остался я» (№ 12, 31. X.38).

Через три четверти года после этого, 8 июня 1839-го, был убит отец Достоевского. Возможно, что Федор Достоевский не знал в подробностях, в какой степени опустил его отец в деревне, но достаточно было и одного факта убийства отца крепостными, чтобы глубоко потрясти душу сына. Он пишет брату Михаилу в августе: «Теперь гораздо чаще смотрю на меня окружающее с совершенным бесчувствием. Зато сильнее бывает со мною и пробуждение. Одна моя цель — быть на свободе. Для нее я всем жертвую. Но часто, часто думаю я — что доставит мне свобода... Признаюсь, надо сильную иметь веру в будущее, крепкое сознание в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами. Благословляю минуты, в которые я мирюсь с настоящим. В эти минуты яснее сознаю свое положение, и я уверен, что эти святые надежды сбудутся. Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, «что значит человек и жизнь», — в этом довольно успеваю я. Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (№ 14, 16. VIII. 39).

В следующем письме к Михаилу, 1 января 1840 г., Достоевский пишет о Гомере, сравнивая его с Христом: «Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гёте. Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому».

Далее он хвалит В. Гюго как лирика «чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии»: «...никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, — я читал его сонеты на французском, — ни Байрон, ни Пушкин» (№ 16).

В этом письме несколько странным представляется то, что Христос не занимает исключительного положения, а приравнивается к Гомеру. Далее, начиная с 1841 г. вплоть до каторги, в письмах нет обсуждения никаких проблем христианского миропонимания; самое слово «Бог», хотя Достоевский упоминает его часто, встречается здесь почти только в стереотипных речениях «ради Бога», «Бог знает», «дай Бог» и т. п.; далее начинают даже появляться слова «черт знает» и т. п., чего не было раньше и что редко будет встречаться после каторги. В письме от 30 сентября 1844 г. производит отталкивающее впечатление фраза об опекуне, муже сестры П. А. Карепине, наполненная грубо циничными выражениями: «Карепин е..., с..., водку пьет, имеет чин и в Бога верит. Своим умом дошел» (№ 26).

В начале лета 1845 г. Достоевский познакомился с Белинским, который восторженно принял его первое произведение «Бедные люди».

«Тогда, в первые дни знакомства, — рассказывает Достоевский в «Дневнике Писателя», — привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. Он знал, что основа всему — начала нравственные. Но как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности — он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмазновых основаниях. В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял тогда все учение его», — сообщает Достоевский в конце этого рассказа («Дневник Писателя», 1873, II, «Старые люди»).

Ссора с Белинским, приведшая к разрыву сношений с ним, произошла, по словам Достоевского, «из-за идей о литературе и направлении литературы» («Летопись жизни Белинского», стр. 217; Петрашевцы. М., 1907, стр. 90).

Очевидно, «утрата Христа», связанная с «преображением в европейского либерала», произошла именно во время дружеского общения с Белинским, начавшегося летом 1845 г. и продолжавшегося в первой половине 1846 г. Возможно, что она подготовлялась уже раньше, с 1841 г. Любовь Достоевская утверждает, что в Иване Карамазове отец ее, по преданиям семьи, изобразил себя, каким он был в двадцатилетнем возрасте. Надобно, однако, заметить, что даже и во время крайнего увлечения взглядами Белинского Достоевский сохранял горячее чувство преклонения перед Христом как высшим воплощением добра. «Утрата» состояла, вероятно, лишь в том, что он отказался от церковного учения о Христе как Богочеловеке и в 1846 г. не был у св. Причастия. Возможно даже, что он не причащался с тех пор, как вышел в отставку в октябре 1844 г.

После ссоры с Белинским, которая произошла в начале 1847 г. и привела к разрыву сношений с ним, Достоевский вернулся к Церкви. Точное доказательство этого находится в сообщении доктора С. Д. Яновского о том, что Федор Михайлович в 1847 и 1849 гг. вместе с ним говел у Вознесенья и «делал это не для формы». Яновский говорит, что он «благоговел перед его твердостью в православии и заслушивался его бесед на тему любви и милосердия» (О. Ф. Миллер. «Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского». Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, 1883, стр. 94 с.).

Ценные дополнения к этому сообщению находятся в письмах д-ра Яновского к А. Г. Достоевской и в его «Воспоминаниях о Достоевском», написанных с целью дать представление о характере Достоевского, главным образом, как он выражался, в течение трех лет перед его арестом (С. Д. Яновский. «Воспоминания о Достоевском». «Русский Вестник», 1885, апрель, стр. 796—819).

Яновский познакомился с Достоевским в мае 1846 г., когда лечившийся у него Валериан Майков привел к нему автора «Бедных людей» как больного, желающего воспользоваться его медицинскими советами. Достоевский—пациент скоро стал другом Яновского. Они

настолько сошлись, что Достоевский стал приходиться к Яновскому рано утром до приема больных, чтобы вместе с ним пить чай, и затем вечером в девять часов, засиживаясь у него до полуночи и часто даже оставаясь ночевать. Встречи эти происходили почти ежедневно вплоть до ареста Достоевского. Беседовали друзья о литературе, об искусстве и «очень много о религии».

- Я патриот и «верующий в Откровение», - говорит о себе Яновский и тут же прибавляет: Достоевский — «нравственный химик–аналитик неудовлетворимый», «патриот из патриотов и верующий» (стр. 799).

В письмах к А. Г. Достоевской Яновский говорит, что Христа «любил и обожал общий друг наш выше всего на свете».

«Если я не сгиб под гнетом многих меня удручавших неудач и серьезных огорчений в жизни и если, при всей моей бедности, не считаю себя далеко несчастным, — то я обязан опять?таки Федору Михайловичу, который в годах еще моей молодости поставил меня твердо в понимании истин Евангельского учения. Он был мой духовный старшой. Ведь каждое произносимое им слово, вроде «Эх, батенька, Степан Дмитриевич, это не так» или «ну, да это, пожалуй, и так» — до сих пор отдается во всем моем существе, словно я их слышу в действительности; вследствие этого я до сих пор, что бы ни делал и что бы ни задумывал сделать, постоянно задаюсь вопросом: ну, а как бы на это взглянул и что бы на это сказал тот, образ которого всегда со мною и для которого всегда и во всех обстоятельствах истина была выше всего».

Под влиянием своего друга, говорит Яновский, я «сделался чувствительным ко всякой лжи и фальши» и при встрече с ними «образ Федора Михайловича воскресает предо мною воочию, я вижу его сжатые от нравственной тревоги губы, замечаю движение его правой руки, начинающей то поправлять его прическу, то покручивать маленькие его усики, и даже слышу ясно его голос, произносящий «эх, батенька, как это неверно и как это скверно», и мне делается действительно тяжело и скверно» (Достоевский. Сборник Долинина, т. II, Письма Яновского к Достоевской, стр. 389, 379—381).

Кто-то заявил, будто «в Евангелии сказано, что иногда и ложь бывает во спасение»; Достоевский возмутился: «В Евангелии этого не сказано»; когда «человек лжет, то делается гадко, но когда лжет и клеветает на Христа, то это выходит и гадко, и подло» (Воспоминания, 814).

Достоевский любил общественный строй, говорит Яновский, но в основание общества он клал «только истины Евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал–демократический устав -1848 года» (там же, 812).

Чрезвычайно важно для понимания религиозной жизни Достоевского в этот период следующее сообщение Яновского: «Вернейшее лекарство у него всегда была молитва. Молился он не за одних невинных, но и за заведомых грешников» (812)..

Как влияли друг на друга доктор Яновский и Достоевский в период живого и непрерывного общения их? Яновский говорит о себе, что он был верующим в Откровение, а Достоевский сообщает о себе, что он «утратил было» Христа, «когда преобразился в европейского либерала»; он «страстно принял учение Белинского», стремившегося «низложить христианство», и произошло его увлечение идеями Белинского в 1845 г., за три четверти года

до знакомства с Яновским. Тем не менее именно Достоевский, по словам Яновского, наставил его «в понимании истин Евангельского учения» и был его «духовный старшой».

Понять имеющуюся у нас совокупность данных естественнее всего следующим образом. Яновский обладал церковною верою в Иисуса Христа как Богочеловека, верою, не поколебленною сомнениями, но и не разработанною личными усилиями ума. Наоборот, Достоевский в начале этого знакомства находился в кратковременном периоде утраты веры в божественность Христа, однако личность Христа и в это время, как в течение всей его жизни, оставалась для него идеалом и путеводною звездою. Поэтому он мог помогать Яновскому понять глубокий смысл многих истин Евангелия, а сам в свою очередь, может быть, под влиянием толчка, данного примером Яновского, вернулся к Церкви и пошел вместе с другом к св. Причастию, вероятно, в Великом посту 1847 г. Маловероятно, однако, чтобы этот возврат к Церкви был обусловлен только примером Яновского. Скорее следует предполагать, что он был подготовлен уже впечатлениями и размышлениями, оттолкнувшими его от увлечения Белинским и от всего его «европейского» кружка. Неуважительное отношение Белинского к личности Христа было непереносимо для Достоевского.

Учение Христово, рассказывает Достоевский в «Дневнике Писателя», Белинский, «как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукою и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием».

«— Да, знаете ли вы, — взвизгивает он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел.. ? Этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и ступался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-ет! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну, нет: если бы теперь появился Христос, Он бы примкнул к движению и стал во главе его.

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними».

Была и личная причина, побуждавшая Достоевского к критическому пересмотру взглядов Белинского и его приятелей-западников. Белинский отрицательно оценил повесть «Двойник» и все последовавшие за нею повести и рассказы Достоевского.

«Каждое его новое произведение — новое падение», — писал он П. В. Анненкову в феврале 1848 г. (Белинский, Письма, т. III, 338) и окончательно усомнился в таланте Достоевского.

Друзья и приятели его, превозносившие вместе с ним Достоевского, Некрасов, особенно Тургенев и др., теперь начали осмеивать слабости Достоевского и нередко жестоко издевались над ним. В октябре 1846 г. Достоевский поссорился с Некрасовым и его журналом «Современник» из-за того, что стал печатать свои повести в «Отечественных Записках» Краевского, а в начале следующего года совершенно прекратил общение с Белинским после ссоры «из-за идеи о литературе и о направлении в литературе». Впоследствии Достоевский писал, что разошлись они «от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях» («Дневник Писателя», 1873, II). Это и значит, что ссора была подготовлена уже задолго до ее наступления постепенным обнаружением глубокого различия их мировоззрений. Не только отношение Белинского ко Христу, самая сущность его взглядов на отношение между обществом и индивидуумом, например убеждение в том, что преступления сполна обусловлены несовершенством экономического строя, вскоре должно было оказаться неприемлемым для Достоевского, так как оно связано с унижительным для человека отрицанием свободы и нравственной ответственности.

В 1847 г., приблизительно около времени поста, Достоевский стал посещать пятницы Петрашевского и брать книги из библиотеки его кружка («Красный архив», XLV). Общение с петрашевцами не возвратило Достоевского к взглядам Белинского, а, скорее, наоборот, ускорило осознание им религиозно-философских основ его несогласия с атеистическим социализмом, надеющимся осуществить счастье человека путем превращения общества в муравейник.

По свидетельству Спешнева, «на Федора Михайловича Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верою» (О. Миллер, 91). В одной из своих речей он назвал Иисуса Христа «демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру» (Щеголе «Петрашевцы», т. III). Личность Петрашевского вообще не нравилась Достоевскому; он считал его «агитатором и интриганом» (Яновский, 819). На вопрос Яновского, почему он посещает пятницы Петрашевского, Достоевский отвечал: «У него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности когда (Отношение Достоевского к социализму, высказанное им на допросе, «Дневник Писателя», 1873 г. II) выпьет рюмочку винца... Но вы туда никогда не попадете — я вас не пущу».

Фурьеризм он считал «системою вредною», во-первых, уже потому, что она — *система*; «во-вторых, как ни изящна она, она все же утопия, самая несбыточная. Но вред, производимый этой утопией, если позволят мне так выразиться, более *комический*, чем приводящий в ужас». Но вместе с тем Достоевский заявил, что он считает идеи социализма, при условии мирного осуществления их, «святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества» (Н. Бельчиков. Показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев. «Кр. Архив». XLV, 1931, стр. 132).

В кружке петрашевцев Достоевский интересовался, по-видимому, вопросом о реформе суда, о свободе печати и особенно об уничтожении крепостного права; он надеялся на освобождение крестьян самим правительством, но, в крайнем случае, признавал возможным достигнуть цели путем восстания (О. Миллер, 85).

Эти интересы нисколько не препятствовали возвращению Достоевского к Церкви, которое выразилось в том, что в 1847 и 1849 гг. он приобщался вместе с Яновским в Вознесенской церкви. Возможно, что уже в это время он начал обдумывать статью о назначении христианства в искусстве, о которой в 1856 г. он писал Врангелю, что она — «плод десятилетних обдумываний», что она вся «до последнего слова» обдумана им «еще в Омске». Он собирался уже послать ее Врангелю, но Врангелем она не была получена и

вообще никогда не увидела света. Статью эту Достоевский хотел посвятить Президенту Академии Наук Великой княгине Марии Николаевне, следовательно, считал мысли, выраженные в ней, приемлемыми для лица, занимающего видный пост в России.

За восемь лет до этого Достоевский прочитал в кружке Петрашевского «Письмо Белинского к Гоголю», что и было главным предметом обвинения, приведшего его на эшафот, а потом на каторгу. Письмо это — атеистическое, наполненное резкими нападениями на Церковь, в особенности Русскую Православную, и на русское духовенство. Так как в то время Достоевский свободно, по внутреннему побуждению вернулся к Церкви, то факт чтения письма Белинского нужно исследовать и его можно, понять следующим образом. На допросе Достоевский объяснял это чтение как следствие случайно данного Петрашевскому обещания. Придя к Дурову, Достоевский получил присланную ему копию «Письма Белинского» и прочитал ее. Вскоре пришел Петрашевский и, узнав, что в тетрадке содержится «Письмо Белинского», попросил Достоевского прочитать его на кружке. Я, показывая Достоевский, «обещал неосторожным образом прочесть ее у него» и уже «не мог отказать» от обещания. «Я его прочел, стараясь не высказывать пристрастия ни к тому, ни к другому из переписывавшихся».

Правильность этого показания, поскольку Достоевский старается показать им, что полного сочувствия к письму Белинского у него не было, не вызывает серьезных сомнений. Сочувствовать атеизму Белинского и нападениям его на Церковь вообще он не мог, но он, конечно, сочувствовал нападениям на недостатки Церкви и обличениям против русского духовенства. Барон Врангель, описывая свое общение с Достоевским в Сибири в 1854—56 гг., рассказывает: «О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом». Русских священников Достоевский и впоследствии довольно долго еще недолго любил и в церковь, по-видимому, до 1871 г. ходил не часто. Возврат его к Церкви был в 1847 г. присоединением главным образом ко Христу как Богочеловеку, а не к Русской Православной Церкви.

Любовь к русскому православию и к Церкви появилась у него впоследствии и развивалась медленно и постепенно. В письме к Гоголю Белинский, нападая на Церковь, проявляет в то же время сочувственное отношение ко Христу и его учению. Этого Достоевскому было достаточно в 1849 г., чтобы у него не возникал резкий протест против «Письма Белинского».

Находясь в заключении в Петропавловской крепости, Достоевский читал два путешествия к святым местам и сочинения св. Димитрия Ростовского, которые «очень заняли» его (Письмо к Михаилу, № 55). Он просит брата прислать ему «Отечественные Записки» и Библию во французском переводе, а также на славянском языке (№ 56). Брат прислал ему Библию, «Отечественные Записки» и, кроме того, Шекспира. Много лет спустя Достоевский рассказывал А. У. Порецкому и Тимофеевой, что Библия, полученная от брата в крепости, положила начало его «духовному перерождению» (*В. В. Тимофеева. Год работы с знаменитым писателем. «Истор. Вестн.»*, 1904, 11, 531).

Когда петрашевцы, приговоренные к расстрелу, стоя на эшафоте, выслушали приговор, к ним подошел священник и пригласил их к исповеди. Удивительно, что исповедовался один только Шапошников, хотя среди приговоренных были и очень религиозные люди, например Дуров. Но ко кресту приложились все. Достоевский в ожидании казни испытывал мистический страх, сознавая, что через несколько минут он перейдет в другую, неизвестную жизнь. Это состояние свое Достоевский подробно описал в «Идиоте», где князь Мышкин передает рассказ лица, ожидавшего расстрела в течение двадцати минут и затем помилованного: «Ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как

же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже *ничто*, кто-то или что-то, — так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышею сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как непрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил».

Крыша собора, о которой идет речь в этом рассказе, принадлежала Семеновской церкви; Достоевский видел ее с эшафота и о впечатлении, произведенном ею, рассказывал близким (О. Миллер. Биография, 122).

Мысль о слиянии с солнечными лучами не соответствует христианским представлениям о загробной жизни, но обзор своей жизни и переоценка ее, произведенная здесь Достоевским, очень способствовали дальнейшему религиозному развитию его. Врангелю он рассказывал, что «вся жизнь пронеслась в его уме, как в калейдоскопе, быстро, как молния, и картинно» (Врангель, 8). Сознания себя совершившим преступление у него не было, но был покаянный пересмотр всей своей жизни («Дневник Писателя», 1873, «Одна из современных фальшей»), выразившийся обстоятельно в письме к брату Михаилу, написанном через несколько часов после возвращения в крепость.

«Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Si jeunesse savait! Теперь, переменя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохранию дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое! Казематная жизнь уже достаточно убила во мне плотских потребностей, не совсем чистых; я мало берег себя прежде. Теперь уже лишения мне нипочем, и потому не пугайся, что меня убьет какая-нибудь материальная тягость. Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да! правда! Та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая создала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мною. Они изъязвляют меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это все-таки жизнь. On voit le soleil! Брат, береги себя и семью, живи тихо и предвиденно. Думай о будущем детей твоих... Живи положительно. Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю. Если кто обо мне дурно помнит и если с кем я поссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное впечатление — скажи им, чтоб забыли об этом, если тебе удастся их встретить. Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада, я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертью» (№ 58, 22. XII.49).

Все содержание и тон этого письма, в котором нет никакого озлобления, предвещает, что в душе Достоевского начнется на каторге углубление религиозной жизни в духе христианства, не сектантского, а примирительно–церковного, стремящегося к всеобъемлющему синтезу.

11 января Достоевский, Дуров и Ястржембский были привезены в Тобольск и шесть дней прожили в остроге в ожидании отправления на каторгу в Омск. Большое впечатление произвело здесь на Достоевского тайное свидание на квартире смотрителя острога с женами декабристов — Муравьевой, П. Е. Анненковой с дочерью ее О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизиной.

«Они благословили нас в новый путь, — рассказывает Достоевский, — перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой на каторге. Я читал ее, иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного» («Дн. Пис.», 1873, II).

Была еще у Достоевского Библия, посланная ему братом в крепость и взятая им с собою, но ее у него вскоре украли, а Евангелие, полученное от жен декабристов, он сохранил на всю жизнь и постоянно пользовался им.

Каторжане из простонародья встретили петрашевцев–дворян чрезвычайно враждебно, не желая признать в них товарищей по несчастью.

«Вы дворяне, железные носы, нас заклевали, — говорили они. — Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал» — вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали и неподклонимостью их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их. Понятия об нашем преступлении они не имели. Мы об этом молчали сами, и потому друг друга не понимали, так что нам пришлось выдержать все мщение и преследование, которым они живут и дышат к дворянскому сословию» (Письмо к Михаилу, № 60, 22.11.1854, из Омска, после четырех лет каторги перед отъездом в Семипалатинск на службу рядовым в 7–м Сибирском линейном батальоне).

Первый год каторжной жизни, пока Достоевский не освоился с положением и жил почти в совершенном отчуждении от людей, был для него особенно тяжел. В эту пору, без сомнения, церковь была для него источником утешения и глубоких, возвышающих душу впечатлений. В «Записках из мертвого дома» он, очевидно, говорит о себе, рассказывая о говениях во время Великого поста.

«Неделя говенья мне очень понравилась. Говевшие освобождались от работ. Мы ходили в церковь, которая была неподалеку от острога, раза по два и по три в день. Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны, — все это расшевеливало в душе моей далекое–далекое минувшее, напоминало впечатления еще детских лет» («Записки из Мертвого дома», II, 5).

Для лица, возвращающегося к церкви после временного отпадания от нее, особенно важно восстановление связи с впечатлениями детства, проникнутого светлою верою в Бога и сверхземной мир. Не меньшее значение имело для Достоевского сочетание глубоких впечатлений, даваемых церковью, с теми настроениями русского народа, которые он называет «народною правдою». «Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с

чашей в руках читал слова: «...но яко разбойника мя приими», — почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется, приняв эти слова буквально на свой счет».

Большое впечатление производила на Достоевского также подача арестантам милостыни Христа ради. Вскоре после прибытия в острог, когда Достоевский возвращался с работы, сопровождаемый конвойным, его догнала девочка, шедшая с матерью, — вдовой-солдаткой, и сунула ему в руки копеечку, говоря: «На, несчастный, возьми Христа ради копеечку!» Эта подача милостыни народом и просьба дать ее «Христа ради» давно уже привлекала к себе внимание Достоевского. В «Бедных людях» Макар Алексеевич Деушкин говорит о том, как различно звучит это «Христа ради» в устах различных просителей.

В казарме рядом с Достоевским на нарах помещался дагестанский татарин Алей двадцати двух лет. Это был чистый сердцем юноша, неспособный к преступлению; старшие два брата его, отправляясь на разбой, приказали ему ехать с ними, не сказав ему, что они замышляют. Вместе с братьями, совершившими преступление, и он был отправлен на каторгу, правда, на более короткий срок. Достоевский научил его читать по Евангелию.

«Однажды, — рассказывает он, — мы прочли с ним всю Нагорную проповедь. Я заметил, что некоторые места в ней он проговаривал как будто с особенным чувством. Я спросил его, нравится ли ему то, что он прочел. Он быстро взглянул, и краска выступила на его лице.

— Ах, да! — отвечал он, — да. Иса святой пророк, Иса Божие слова говорил. Как хорошо!

— Что же тебе больше всего нравится?

— А где Он говорит: «Прощай, люби, не обижай, и врагов люби». Ах, как хорошо Он говорит!

Он обернулся к братьям, которые прислушивались к нашему разговору, и с жаром начал им говорить что-то. Они долго и серьезно говорили между собою и утвердительно покачивали головами. Потом с важно-благодарною, т. е. чисто мусульманскою, улыбкою (которую я так люблю, и именно люблю важность этой улыбки) обратились ко мне и подтвердили, что Иса был Божий пророк и что Он делал великие чудеса».

Отбыв срок каторги, но живя еще в Омске в ожидании отправки в Семипалатинск для службы там рядовым, Достоевский написал замечательное письмо Н. Д. Фонвизиной, одной из тех дам, жен декабристов, которые подарили ему Евангелие в начале каторги. Фонвизина в это время уже вернулась в Европейскую Россию, и Достоевский высказывает мысль, что, вероятно, изгнанник при возврате на родину переживает «вновь, в сознании и воспоминании, все свое прошедшее горе». В связи с этим он открывает интимные и глубокие черты своих религиозных переживаний: *«Не потому, что вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры и находишь ее собственно потому, что в несчастьи яснеет истина. Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»* (№ 61, февр., 1854).

Воспоминания детства, любовь к русскому народу и к «народной правде», тесно связанной с православными верованиями, любовь ко Христу и пережитые несчастья — все эти мотивы привлекли Достоевского к Церкви, однако предстояла еще длительная внутренняя работа, дальнейший опыт и общение с людьми раньше, чем он начал отстаивать именно православие как высшее выражение религиозной жизни. После каторги православная религиозная литература начинает занимать особенно видное место в чтении Достоевского. В письмах к брату Михаилу он не раз повторяет просьбу присылать ему творения Отцов Церкви и историю Церкви. Между прочим, он просит также прислать ему Коран, вероятно, вспоминая об Алее и его братьях. В 1856 г. он уже делает заметки к статье «О значении христианства в искусстве» (№ 79). В письмах его опять постоянно встречаются замечания такого рода, как «всё от Бога и у Бога» (№ 63) или «всё в руках Божиих, а я, надеясь на Бога, не задремлю и сам» (№ 92) и т. п. В 1857 г. в письме к сестре он сообщает о том, что говел и исповедовался (№ 95).

В Семипалатинске Достоевский пережил однажды перед началом эпилептического припадка живое восприятие бытия Бога. Лет через десять он рассказывал об этом событии сестрам Корвин–Крюковским и младшая из них София (Ковалевская) ярко передала этот рассказ. К Достоевскому в ночь перед Светлым Христовым Воскресением приехал старый товарищ, и они всю ночь побеседовали; говорили «о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии. Товарищ был атеист, Достоевский — верующий, оба горячо убежденные каждый в своем. «Есть Бог, есть!» — закричал наконец Достоевский, вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светло–христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался. «И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, — и больше ничего не помню» (С. Ковалевская. Воспоминания детства, «Вестник Европы», 1890, август, стр. 624).

Возвращаясь из Сибири в Европейскую Россию с женою Мариєю Дмитриевною, Достоевский, увидев столб, обозначающий границу Европы и Азии, вышел из тарантаса и «перекрестился, что привел, наконец. Господь увидеть обетованную землю» (Письма, № 133). На пути в Тверь, где ему разрешено было поселиться, он с женою заехал в Троице–Сергиеву лавру. В письме к Гейбовичу он говорит о сильном впечатлении, произведенном на него монастырем, но имеет в виду при этом не религиозные, а исторические ценности лавры.

Вспоминая уже в 1873 г., как медленно происходил в нем и его товарищах процесс возвращения к русскому народному духу, Достоевский говорит: «А между тем я был, может быть, одним из тех (я опять про себя одного говорю), которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. И вот, если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропустить мимо себя той новой роковой среды, в которую ввергло нас несчастье, не мог отнестись к явлению перед собой духа народного вскользь и свысока, — если и мне, говорю я, было так трудно убедиться, наконец, во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной (здесь Достоевский имеет в виду увлечение атеистическим радикализмом), то каково же другим, еще глубже разорвавшим с народом, где разрыв преемствен и наследствен еще с отцов и дедов?» («Дневник Писателя», 1873, «Одна из современных фальшей». ² Письма С. Д. Яновского. Сборник «Достоевский», ред. Долинина, т. Ц, 379).

Окончательный возврат к православию совершился в душе Достоевского лишь в шестидесятих годах, однако уже в 1859 г., вскоре после приезда в Тверь, в беседе с Яновским, приехавшим навестить его, он ссылаясь на силу своей веры как причину счастливого перенесения им каторги и ссылки.

«Когда он передавал мне жизнь свою в Петропавловской крепости и в Сибири, — пишет Яновский Анне Григорьевне, — он многократно повторял: «Да, батенька, все пережилось и все радостно окончилось, а отчего? оттого, что вера была сильна, несокрушима; покаяние глубокое, искреннее, ну и надежда во все время меня не оставляла»².

Слова Достоевского о силе его веры не находятся в противоречии с письмом к Фонвизинной, где он характеризует себя как «дитя неверия и сомнения». Религиозная основа души Достоевского, его вера в Провидение всегда была сильна и спасала его во всех жизненных катастрофах. В большей степени здесь нуждаются в пояснении слова о «глубоком, искреннем покаянии». В «Дневнике Писателя» Достоевский говорит: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давно прошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. То дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится. И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши <я, разумеется, позволяю себе говорить лишь о тех из нас, об изменении убеждений которых уже стало известно и тем или другим образом засвидетельствовано ими самими). Это нечто другое — было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его».

О каком же покаянии и связанной с ним вере говорил Достоевский в беседе с Яновским в Твери? Атеистический Социализм Белинского был им отброшен уже за два года до ареста.

Убеждение о вреде крепостного права, в необходимости реформы суда и т. п. сохранилось у него и после Сибири; публицистическая деятельность Достоевского в первые два года издания журнала «Время» (1861 и 1862 гг.) мало отличалась от того, что он мог бы писать и до каторги. На первый взгляд поэтому кажется, что у Достоевского не было оснований каяться в чем-либо. Однако более внимательное исследование открывает те проявления души Достоевского, которые действительно следовало осудить и в которых он покаялся в Сибири. Во время дружбы с Белинским, а потом в кружке Петрашевского Достоевский, без сомнения, переживал припадки фанатического озлобления против правительства в связи с злоупотреблениями крепостного права, по поводу жестоких наказаний шпицрутенами и т. п. черт тогдашнего режима. Он готов был в крайнем случае даже прибегнуть к восстанию для изменения общественного порядка. Мало того, в те годы даже сатанинская сторона революционного движения, столь ярко изображенная им впоследствии в «Бесах», могла опутать его душу.

«Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, — говорит Достоевский в «Дневнике Писателя», — но нечаевцем, не ручаюсь, может быть, и мог бы... во дни моей юности.

Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, безо всякого сомнения, представлено было убийцей Нечаевым своим жертвам «Нечаевпам» как дело политическое и полезное для будущего «общего и великого дела». В моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многообразные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шаткости в основных общественных убеждениях» («Дневник Писателя», 1873, «Одна из современных фальшей»).

Достоевский на каторге осудил в себе это нравственное извращение души, и раскаяние его, естественно, сочеталось с углублением религиозной жизни и усилением в ней влияния образа Христа. Сюда присоединился еще один фактор: общение с народом, в душе которого преклонение перед царскою властью имело религиозную окраску. Свою ссылку Достоевский стал считать справедливою. «Нас осудил бы народ», — говорил он (Биография и т. д., стр. 257 с.).

Патриотические чувства, всегда сохранявшиеся в душе Достоевского, усилились в нем особенно во время Севастопольской кампании, а также в связи с восшествием на престол Александра II, которого народ русский полюбил уже наследником, зная о его гуманности. Сознывая свое единство с народом в патриотических чувствах к верховной власти, Достоевский вместе с тем становился все теснее связанным и с церковью, однако все же в эту пору, по-видимому, это была связь с христианскою церковью и христианскою культурою вообще, без осознания особенно высокой ценности православия.

В своем художественном творчестве Достоевский в эту пору, как и до каторги, еще не разрабатывает религиозных тем; также и его публицистические и критические статьи в журнале «Время» далеки от них.

Страхов прямо говорит: «Что касается до *высших нравственных основ, до христианской проповеди*, то эти основы, действительно, высказывались в журнале всего менее и выражались разве только одним отрицательным образом, например, в том, что в журнале не было ничего ни материалистического, ни антирелигиозного. Мало того, — из наших частных разговоров мне не припоминается почти ни одного случая, когда бы Федор Михайлович прямо высказывал то религиозное настроение, которое, по-видимому, не угасало в нем ни в один период его жизни. Помню, впрочем, как, говоря со мной о революции, он с особенной силой сослался на слова Евангелия: поднявшие меч, мечом и погибнут. Но неуважение к религии или кощунственные шуточки над нею нимало не были в ходу во всем нашем кружке, несмотря на то, что были обыкновеннейшим явлением у тогдашних просвещенных людей, и строго относиться к ним было невозможно» (См. об этом «Достоевский и шестидесятники» В., С. Дороватовской–Любимовой. Сборник «Достоевский», Труды Гос. Акад. Худ. — литер., секция, восп. III, 1928).

В журнале «Время» Достоевский был занят главным образом проповедью «почвенничества», т. е. призывом вернуться к родной почве, соединиться с народным началом. Это направление он считает стоящим выше противоположности западничества и славянофильства. Всякую односторонность и исключительность он осуждает и считает ее не соответствующею русскому характеру.

В 1861 г., как и в дальнейшей своей деятельности вплоть до пушкинской речи, он говорит, что «в русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая особенность,

что в нем по преимуществу выступает способность высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности» (Ряд статей о русской литературе, «Время», янв. 1861).

Посвятив целую статью газете И. С. Аксакова «День», Достоевский наполняет ее отрицательными суждениями о славянофилах, упрекает их в «ярой нетерпимости», говорит, что и у западников есть «чутье русского духа и народности», как у славянофилов, с тем, однако, преимуществом, что у западников больше реализма, «тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем», имеющем «мечтательный» характер (там же, V, ноябрь 1861).

Но западников, наводняющих литературу «обличительными» статьями, он резко осмеивает уже начиная с 1861 г.

Знарок Достоевского Долинин находит в журнале «Время» уклон в сторону православия в начале 1863 г. и в подтверждение своей мысли ссылается на статью Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях». Такого уклона в этой статье я не могу найти; возможно, однако, что остальное содержание журнала, которого я в условиях заграничной жизни не могу достать, служит подтверждением мнения Долинина. Во всяком случае, нетрудно установить, что в 1862 и 1863 гг. у Достоевского было много переживаний, которые должны были усилить интерес к религии, и именно в направлении, ведущем к православию (Долинин, сб. «Достоевский», т. II, 155).

В это время произошел ряд событий, которые стали удалять Достоевского от западного либерализма и приближать его к славянофилам. Освобождение крестьян и подготовка дальнейших великих реформ Александра II встречена была им как начало расцвета жизни России. Но в левых кругах русского общества, вместо удовлетворения реформами и стремления наилучшим образом воплотить их в жизни, усилилось революционное брожение. Появились прокламации с призывом к вооруженному восстанию для учреждения в России социалистической республики. Некоторые из них поражали своим убожеством и грубостью. В мае 1862 г. начались пожары, наводившие ужас на жителей Петербурга. Молва приписывала их поджогам революционеров. Достоевский был так потрясен, что отправился к Чернышевскому побеседовать о пожарах и прокламациях.

«Я к вам по важному делу, — говорил Достоевский, — с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими» (Л. Гроссман. «Жизнь и труды Достоевского». 1935, стр. 113).

Летом этого же года Достоевский совершил первую поездку за границу и побывал в Париже, в Лондоне, в Женеве, во Флоренции. Впечатления от Западной Европы у него получились неблагоприятные (нищета в Уайтчепеле, буржуазный дух французского общества), усиливающие в нем сомнения в правильности пути, по которому идет западная цивилизация. В объявлении о подписке на журнал «Время» осенью 1862 г. подвергаются осуждению те западники, которые отвергают ценность самобытной народности, «хотят единственно начал общечеловеческих и верят, что народности в дальнейшем развитии стираются, как старые монеты, что все сливается в одну форму, в один общий тип».

Польское восстание, начавшееся в январе 1863 г., еще более оттолкнуло Достоевского от западной цивилизации и привлекло его внимание к роли католицизма в развитии ее. Как это, к сожалению, обыкновенно происходит в человеческой душе в подобных случаях, поворот к православию начался у Достоевского не с усмотрения положительной ценности своей

Церкви, а с отталкивания от чужого вероисповедания, именно от католицизма. Выражено оно в заметке, написанной Достоевским для газеты «Петербургские ведомости». История этой заметки такова. Многие русские люди, даже и сочувствовавшие освобождению Польши, отнеслись отрицательно к восстанию, когда узнали, что целью его является не только самостоятельность Польши, но и включение в нее Белоруссии. В апрельском номере «Времени» появилась статья Страхова «Роковой вопрос». В ней Страхов говорил, что Польша гордится своею цивилизацией) и основывает свои притязания на превосходстве, ее; между тем, по его мнению, начала русского народного духа имеют более высокую ценность, чем польская цивилизация, и для окончательной победы над Польшею нам необходимо бороться с нею не только военною силою, но и духовными средствами. Статья эта была ложно истолкована как защита Польши.

Потому журнал «Время» был закрыт правительством. Чтобы предупредить закрытие журнала, Достоевский попытался защититься и написал заметку, разъясняющую дело, для помещения ее в газете «Петербургские ведомости». Заметка эта не была, пропущена цензурою. В ней Достоевский высказывал мысль, что европейская цивилизация развила в Польше «антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. Она развила у них преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм».

«Мало того: нигде, может быть, католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в Польше», «У; них вся цивилизация обратилась в католицизм, а мало ли они жгли, да кожи сдирали с русских за католицизм. Мало ли они дожимали нас, плевали на нас, как на холопов, и за людей нас не считали. Из-за чего это было, как вы думаете? Именно из католической пропаганды, из ярости уловлять прозелитов, из ярости ополчить и окатоличить» (Биография, Н. Страхов, стр. 252).

Летом этого года во время второй своей поездки за границу (с Сусловой) Достоевский в письме к брату уже поручает ему, сообщить Страхову: «Я с прилежанием славянофилов читаю, и кое-что вычитал новое» (№ 177), а через неделю пишет самому Страхову из Рима: «Славянофилы, разумеется, сказали *новое слово*, даже такое, которое, может быть, и избранными-то не совсем еще разжевано. Но какая-то удивительная *аристократическая сытость* при решении общественных вопросов» (№ 178). Можно догадаться, что «новое слово», он нашел в учении славянофилов о превосходстве православия над другими христианскими вероисповеданиями. О журнале «Эпоха», заменившем собою «Время» и выходившем в 1864 г. и начале 1865 г., Страхов говорит, что направление его «было уже сознательно славянофильским; припоминаю, как однажды Федор Михайлович, по поводу какой-то статьи в защиту «Дня», прямо сказал: «Это хорошо; нужно помогать ему, сколько можем» (Биография, 275). В 1867 г. в беседе с Катковым Достоевский уже прямо назвал себя славянофилом и заявил Каткову, что с некоторыми мнениями его он не согласен (Письмо к Сусловой, № 265).

Еще большее значение в религиозной жизни Достоевского имел кризис, пережитый им в 1863 г., о котором было рассказано уже выше. Открыв в своей душе всевозможные виды зла от сатанинского до мелочно-человеческого, он совершил очистительный акт, изобразив это зло в «Записках из подполья». Если бы не было нелепого вмешательства цензора, проявившего усердие не по разуму, положительное значение этого произведения было бы гораздо более ясным.

«Свиньи цензора, — писал Достоевский брату Михаилу, — там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду*, — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа — то запрещено. Да что они, цензора-то, в заговоре против правительства, что ли?» (№ 193)

«Записки из подполья» свидетельствуют не о том, что Достоевский окончательно впал в пессимизм и будто бы до конца своей жизни разочаровался во всем «великом и прекрасном», как это ошибочно понял Шестов (См. его книгу «Достоевский и Ницше. Философия трагедии»), а о том, что он осознал необходимость совершенного преображения души человека для действительного очищения от зла; он понял, что идеал абсолютного совершенства не может быть осуществлен без благодатной помощи Бога, и в свете этого подлинного идеала мечты о «великом и прекрасном» европейского либерализма и социализма оказались мелкими, поверхностными. С этого момента его гений окончательно созрел и стал выражаться в великих произведениях, пронизанных религиозными темами. И здесь первые шаги на этом пути были развитием в романе «Преступление и наказание» отрицательной темы, изображением распада души, заглушившей в себе голос Бога.

В письме к Каткову Достоевский рассказывает об убийстве, совершенном героем романа, и прибавляет: «Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы встают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божья правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что *принужден* сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое; в повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти потому, что он *и сам его нравственно требует*» (№ 234, сентябрь 1865).

В записной книжке Достоевский в связи с идеею романа упоминает даже о православии: «Идея романа. Православное воззрение; в чем есть православие? Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. — Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье и всегда страданием» (Из архива Ф. М. Достоевского. «Преступление и наказание». Подготовил И. И. Гливенко, 1931).

В действительности, при осуществлении романа на первый план выдвинулось не православие, а та идея, о которой Достоевский говорит в письме к Каткову. Письмо это он писал из Висбадена, где познакомился со священником И. Л. Янышевым, который выручил его из тяжелого положения после проигрыша в рулетку. Общение с Янышевым должно было иметь большое влияние на религиозную жизнь Достоевского. Янышев был выдающимся деятелем Православной Церкви и по своим нравственным качествам, и как видный богослов, и как проповедник. Достоевский говорит о нем: «Это редкое существо: достойное, смиренное, с чувством собственного достоинства, с ангельскою чистотою сердца и *страстно верующий*» (Письмо № 296, к А. Майкову).

«Вопрос о значении Янышева в эволюции религиозных воззрений Достоевского ждет еще своего исследователя», — говорит Долинин (Достоевский, Письма, I, стр. 581).

Известен интересный эпизод из жизни Достоевского в эту пору. Во время писания «Преступления и наказания» Достоевский часто ходил в местности около Сенной. Однажды во время такой прогулки к нему подошел пьяный солдат и предложил купить у него только что снятый с шеи крест. Достоевский взял крест и надел на себя (Л. Гроссман. Семинарий по Достоевскому, стр. 60).

Задачу создать положительный образ христианина, и притом православного, Достоевский впервые поставил себе в романе «Идиот». В это время Достоевский был уже женат на Анне Григорьевне и вместе с нею надолго уехал из России за границу.

Анна Григорьевна была религиозна. Связь ее с церковью сохранялась всегда в традиционных формах. По праздничным и воскресным дням она обыкновенно ходила в церковь, тогда как из сведений, имеющихся о Достоевском, скорее видно, что он сравнительно редко бывал в церкви, по крайней мере до возвращения в Россию из-за границы в 1871 г. Известно, однако, что молиться он всегда любил и, по словам Яновского, считал молитву всегда вернейшим лекарством.

Иметь обстоятельные сведения о молитве человека нелегко, потому что молитва есть интимное основное проявление религиозной жизни. К счастью, со времени женитьбы Достоевского на Анне Григорьевне мы имеем, вследствие единодушной жизни его с нею, много упоминаний о его молитве. Придумав план устроить поездку за границу, несмотря на недостаток средств, Анна Григорьевна предложила мужу зайти в часовню Вознесенской церкви, и там они «вместе помолились перед образом Богородицы». Через четыре года, возвращаясь в Петербург и проезжая мимо собора св. Троицы, «в котором происходило наше венчание, — говорит Достоевская, — мы с мужем помолились на церковь; на нас глядя, перекрестилась и наша малютка дочь».

«Что-то даст нам петербургская жизнь? — сказал Достоевский. — Всё перед нами в тумане... Предвижу много тяжелого, много затруднений и беспокойств, прежде чем станем на ноги. На одну помощь Божью только и надеюсь».

Всю свою семейную жизнь Достоевский всегда связывает с мыслью о Боге и покровительстве Божиим. Поехав из Дрездена в Бад-Гомбург попытать счастья в игре на рулетке, он тотчас по приезде пишет жене: «Зачем я мою Аню покинул. *Всю* тебя вспомнил, до последней складочки твоей души и твоего сердца, за все это время, с октября месяца начиная, и понял, что такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верующего ангела, как ты, — я и не стою. Как мог я бросить тебя? Зачем я еду? Куда я еду? Мне Бог тебя вручил, чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а, напротив, чтоб богато и роскошно возросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил, представив тебя Богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит; а я (хоть эта мысль непрерывно и прежде мне втихомолку про себя приходила, особенно когда я молился) — а я, такими бесхарактерными, сбитыми с толку вещами, как эта глупая теперешняя поездка моя сюда, — самое тебя могу сбить с толку» (№ 266).

Через несколько дней он пишет ей: «Я со слезами молился ночью о тебе» (№ 269).

Когда начались роды первого ребенка, Достоевский всю ночь молился, и при появлении на свет девочки, которую назвали Сонею, он «благоговейно перекрестил» ее. Перед рождением сына Федора Достоевский молился «весь день» и всю ночь (А. Г. Достоевская, стр. 144). Когда двухлетняя дочь Достоевских Любовь сломала ручку и она неправильно срослась, ее пришлось подвергнуть операции. Девочку захлороформировали, и родителей, выслали из операционной комнаты.

«Аня, будем молиться, просить помощи Божией, Господь нам поможет!» — прерывающимся голосом сказал мне муж, — рассказывает Достоевская, — мы опустились на колени и никогда, может быть, не молились так горячо, как в эти минуты». В 1875 г. у Достоевских родился сын, и Федор Михайлович, по словам дочери Любви, хотел дать ему имя Стефан в честь предка, принявшего православие (См. о Стефане Достоевском книгу М. В. Волоцкого «Хроника рода Достоевского», стр. 16, 28—31), но Анне Григорьевне это имя не нравилось, и мальчику дали имя Алексея, в честь Алексея — Божия человека, святого, особенно любимого Достоевским.

«В девять часов детей наших укладывали спать, — рассказывает Анна Григорьевна, — и Федор Михайлович непременно приходил к ним «благословить на сон грядущий» и прочитает вместе с ними «Отче наш», «Богородицу» и свою любимую молитву: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом своим!» (стр. 196)

На Страстной неделе Достоевский вместе с детьми и женою постился, ходил два раза в день в церковь и причащался. Особенно любил он, по словам дочери его, «пасхальную заутреню, состоящую из песнопений, проникнутых ликующею радостью» (*Aimee Dostoievsky. Vie de Dostoievsky par sa fille. 1926, стр. 272*).

«На все великие службы Страстной и Пасхальной недель, — говорит Анна Григорьевна, — мы ходили с мужем всегда вместе (я боялась, не произошло бы с ним от духоты и тесноты припадка) и бывали или в правом приделе Знаменской церкви, а в последние три года — во Владимирской церкви».

О характере молитвы Достоевского Анна Григорьевна рассказывает в связи с началом русско-турецкой войны в 1877 г.

«Прочитав манифест, Федор Михайлович велел извозчику везти нас к Казанскому собору. В соборе было немало народа и служили непрерывные молебны перед иконой Казанской Божией Матери. Федор Михайлович тотчас скрылся в толпе. Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенное и умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал».

Последние три дня своей жизни, когда лопнула легочная артерия и начались кровотечения горлом, Достоевский провел спокойно, как твердо верующий православный христианин, с постоянною мыслью о Боге.

«Аня, прошу -тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься!» — обратился он к жене после сильного кровотечения. Когда священник пришел, «Федор Михайлович, — рассказывает жена его, — спокойно и добродушно встретил батюшку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушел, и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием св. Тайн, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чемнибудь огорчал меня».

Через день, проснувшись рано утром, он сказал жене: «Я сегодня умру» — и попросил дать ему Евангелие. Это было то самое Евангелие, которое подарили ему жены декабристов в Тобольске.

«Федор Михайлович, — пишет жена его, — не расставался с этою святою книгою во все четыре года пребывания в каторжных работах. Впоследствии она всегда лежала на виду, на его письменном столе, и он часто, задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал наудачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице (левой от читавшего)». Он любил стихи Огарева: Я в старой Библии гадал, И только жаждал и вздыхал, Чтоб вышла мне по воле рока

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

«И теперь, — пишет Анна Григорьевна, — Федор Михайлович пожелал проверить свои сомнения по Евангелию. Он сам открыл святую книгу и просил прочесть: Открылось Евангелие от Матфея, гл. III, ст. 14: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».

— Ты слышишь — «не удерживай», — значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу.

Я не могла удержаться от слез. Федор Михайлович стал меня утешать, успокаивать, говорил мне милые, ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной. Поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Я умоляла его не думать о смерти, не огорчать всех нас своими сомнениями, просила отдохнуть, уснуть. Муж послушался меня, перестал говорить, но по умиротворенному виду было ясно видно, что мысль о смерти не покидает его и что переход в иной мир ему не страшен».

Вечером Достоевский отдал это Евангелие своему сыну Федору и часа через два скончался.

Из всего сказанного видно, что, возвратившись с женою в 1871 г. после длительного пребывания за границу, Достоевский провел последние десять лет своей жизни как тесно связанный с Церковью православный христианин. Поворот от христианства вообще к осознанию ценности именно православия произошел во время пребывания Достоевских за границу, и мы стоим теперь перед вопросом, как он совершался. Страхов указывает на влияние семейной жизни и удаление от петербургской суеты как на благоприятный момент для религиозной жизни Достоевского.

«Рождение детей, забота об них, участие одного супруга в страданиях другого, даже самая смерть первого ребенка, — все это чистые, иногда высокие впечатления. Нет сомнения, что именно за границей, при этой обстановке, и этих долгих в спокойных размышлениях, в нем совершилось особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем. В его письмах под конец вдруг раздались звуки этой струны; она стала звучать в нем так сильно, что он не мог оставлять эти звуки для себя одного, как это делал прежде. Об этой существенной перемене, однако же, письма не дают полного понятия. Но она очень ясно обнаружилась для всех знакомых, когда Федор Михайлович вернулся из?за границы. Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того, он переменился в обращении, получившем большую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения и на губах появлялась нежная улыбка!»

Влияние семейной жизни на религиозность Достоевского не подлежит сомнению. Но следует иметь, в виду, что во время продолжительной жизни за границу были и другие влияния, мощно воздействовавшие на мировоззрение Достоевского и выдвинувшие в его художественном творчестве на первый план православно-религиозные темы. Отталкивание от западничества, отрицающего своеобразие русской народности, и от революционного социализма усилилось в душе Достоевского уже в первый год пребывания за границу. После четырех месяцев жизни в Западной Европе он пишет Майкову из Женевы, что без России он «точно рыба без воды». Россия, говорит он, «отсюда выпуклее кажется нашему брату». Уже в Дрездене у него «материалу накопилось йа целую статью об отношениях России к Европе и об русском верхнем слое». С возмущением он рассказывает о свидании в Баден-Бадене с Тургеневым, который заявил, что главная мысль его романа «Дым» состоит в фразе: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве». Он «ругал Россию и русских безобразно, ужасно», утверждал, что «есть одна общая всем дорога, и неминуемая, — это цивилизация и Что все попытки руссизма и

самостоятельности — свинство и глупости». Тургенев сообщил при этом, что «пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов». Подзадоренный Достоевский стал бранить немцев и западную цивилизацию. Тургенев побледнел и сказал: «Говоря так, вы меня *лично* обижаете, я здесь поселился окончательно, я сам считаю себя за немца, а не за русского и горжусь этим» (№ 279).

Через месяц в письме к Майкову и к С. А. Ивановой Достоевский сообщает о состоявшемся в Женеве конгрессе «Лиги мира и свободы», который должен был возмутить его еще больше, чем заявления Тургенева. На конгрессе был Гарибальди, очень скоро уехавший, и Бакунин. Достоевский пишет Майкову: «Я в жизнь мою не только не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, но и не предполагал, чтоб люди были способны на такие глупости. Все было глупо: и то, как собрались, и то, как дело повели, и как разрешили» (№ 280). Своей племяннице С. А. Ивановой он сообщает: «Что эти господа, — которых я первый раз видел не в книгах, а наяву, — социалисты и революционеры, ввали с трибуны перед 5000 слушателей, невыразимо. Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противоречие себе — это вообразить нельзя! И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников! Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделить на маленькие; все капиталы прочь, чтоб все было общее по приказу и проч. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще 20 лет назад наизусть, да так и осталось. И главное огонь и меч — и после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир» (№ 284).

Легко представить себе, какое негодование вызвала в Достоевском, воспитанном на Карамзине, мысль о раздроблении больших государств. Что же касается стремления истребить христианскую веру ради достижения всеобщего мира, а также построить царство любви, предварительно дав волю ненависти и залив кровью все современное общество, мы увидели на практике попытки этого рода и знаем по своему опыту, к какому упадку правосознания и нравственности ведет разрушение христианской культуры. Достоевский предусмотрел эту опасность уже семьдесят лет тому назад; осознание ее, без сомнения, было ускорено в нем зрелищем конгресса «Лиги мира и свободы». В это время он стал разрабатывать план романа «Идиот», многочисленные варианты которого сохранились в его записных тетрадах. В них обнаруживается, говорит исследователь этих тетрадей Сакулин, «стремление Достоевского ввести в роман мотив христианства» (Из архива Ф. М. Достоевского. «Идиот». Ред. П. Сакулина и Н. Бельчикова, стр. 234). В декабре основная идея романа окончательно установилась.

«Давно уже мучила меня одна мысль, — писал Достоевский 31 декабря 1867 Майкову, — но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не подготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю ее. Идея эта — *изобразить вполне прекрасного человека*».

Образ такого человека слагается в его уме, очевидно, в форме противопоставления русского христианского идеала западному пониманию христианства. В том же письме к Майкову, обрушиваясь на швейцарскую «буржуазность» и «посредственность во всем», Достоевский говорит, что Западная Европа вырабатывала свою цивилизацию и технику, «а мы в это время великую нацию составляли, Азию навеки остановили, перенесли бесконечность страданий, сумели перенести, не потеряли русской мысли, которая мир обновит, а укрепили ее, наконец, немцев перенесли, и все-таки наш народ безмерно выше, благороднее, честнее, наивнее, способнее и полон другой, высочайшей христианской мысли, которую и не понимает Европа с ее дохлым католицизмом и глупо противоречащим себе самому лютеранством» (№ 292).

На следующий день, 1 января 1868 г., Достоевский писал С. А. Ивановой: «Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение *положительно* прекрасного — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж, конечно, есть бесконечное чудо. (Все Евангелие Иоанна в этом смысле; он все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного)» (№ 294).

После этого упоминания Евангелия Иоанна, Апостола любви, который считается выразителем духа Восточной Церкви, остается сделать один только шаг, чтобы перейти от порицания католицизма и протестантизма к восхвалению православия и утверждению, что русское православие есть основа русской миссии в Европе. Этот шаг Достоевский делает в следующем письме к Майкову, присоединяясь к этой мысли, выраженной Майковым.

«Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием, вы правы), и это совершится в какое-нибудь столетие — вот моя страстная вера. Но чтоб это великое дело совершилось, надобно, чтоб *политическое право* и первенство Великорусского племени над всем Славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно. (А наши-то либералишки проповедуют распадение России на союзные штаты!)» «Нравственная сущность нашего судьи и, главное, нашего присяжного — выше европейской бесконечно: на преступления смотрят христиански. И вообще все понятия нравственные и цели русских — выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро, как в Христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте» (№ 296, 18.11.68). В марте месяце он опять, отвечая Майкову, присоединяется к его мысли, но отчасти приписывает первенство себе: «Вы решительно точно так же смотрите, как и я, и вы говорили, наконец, то, что я три года назад, еще в то время, когда журнал издавал, говорил даже вслух и меня не понимали, именно: что наша конституция есть взаимная любовь Монарха к народу и народа к Монарху. Да, любовное, а не завоевательное начало государства нашего (которое открыли, кажется, первые славянофилы) есть величайшая мысль, на которой много соиздается. Здесь я за границей окончательно стал для России совершенным монархистом. У нас если сделал кто что-нибудь, то, конечно, один только он (да и не за это одно, а просто потому, что он царь, излюбленный народом Русским, и лично, и потому что царь. У нас народ всякому царю нашему отдавал и отдает любовь свою, и в него единственно окончательно верит. Для народа — это Таинство, священство, миропомазание). Западники ничего в этом не понимают, и они, хвляющиеся основанностью на фактах, главный и величайший факт нашей истории просмотрели» (№ 302, 20. III.68).

Любовь к России и русскому народу, патриотические чувства и убеждения Достоевского были существенным фактором в том развитии его религиозной жизни, которое привело его от христианства вообще к преклонению именно перед православием, и притом в той форме его, которая выработана русским народом. В дальнейшей работе над «Идиотом» Достоевский выразил в этом романе мысли, которые с этих пор до конца его жизни входят в состав Главных тем его художественного творчества и публицистической мысли: о русском понимании Христа; о христианской миссии России в Европе, об искажении христианства католицизмом, о генетической связи социализма с католицизмом.

Заканчивая писание «Идиота», Достоевский задумал новый роман, «Атеизм». Но прежде чем приняться за него, пишет Достоевский Майкову, «мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных». Герой этого романа русский человек" —

«...вдруг. уже в летах, теряет веру в Бога. Потеря веры в Бога действует на него колоссально. Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по Славянам и Европейцам, по русским изуверам и пустынножителем, — по священникам; сильно, между прочим, попадает на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога. О католицизме и об иезуите у меня есть что сказать сравнительно с православием» (№ 318).

Через несколько месяцев, увлекаясь чтением в журнале «Заря» первых глав книги Данилевского «Россия и Европа», Достоевский пишет Страхову: «...я все еще не уверен, что Данилевский укажет в *полной силе* окончательную сущность русского призвания, которая состоит в разоблачении перед миром русского Христа, миру неведомого, и которого начало заключается в нашем родном Православии. По-моему, в этом вся сущность нашего будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы и вся сущность нашего могучего будущего бытия» (№ 325, 18. Ш.69).

Через полгода он с огорчением констатировал отсутствие этой идеи в книге Данилевского (№ 357).

Майкову Достоевский советует написать ряд поэм из русской истории в тех ее моментах, когда она «выражалась вся, вдруг, во всем своем целом». К числу таких моментов он относит завоевание Константинополя турками и брак Великого князя Ивана III с Софией Палеолог, которая является «с двуглавым орлом вместо приданого»; с этими событиями связана «великая идея о всеправославном значении России.

И полагается первый камень о будущем главенстве на Востоке, расширяется круг Русской будущности, полагается мысль не только великого государства, но и целого нового мира, которому суждено обновить Христианство всеславянской православной идеей и внести в человечество *новую* мысль, когда загнет Запад, а загнет он тогда, когда Папа исказит Христа окончательно и тем зародит атеизм в опоганившемся западном человечестве».

Последняя поэма должна была содержать картину будущего: «России через два столетия и рядом померкшей, истерзанной и оскотинившейся Европы с ее цивилизацией» (№ 328).

Размышляя о романе «Атеизм», Достоевский в действительности принялся за писание другого произведения — «Бесы»; в состав этого романа вошла часть того, что было задумано для «Атеизма», и образы возникшие в фантазии Достоевского в связи с убийством студента Иванова группой Нечаева в гроте парка Петровской земледельческой академии. Во время писания «Бесов» замысел романа «Атеизм» переродился в другое, еще более обширное произведение. «Житие великого трешника», которое должно было состоять из пяти больших повестей.

«Главный вопрос, который проведется во всех частях, — пишет Достоевский Майкову, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие. Хочу выставить во 2-ой повести главной фигурой Тихона Задонского, конечно, под другим именем, но тоже Архиерей, будет проживать в монастыре на спокойе. В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений. (В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства.)» (Павел Прусский, Голубов, *тож* Парфений — русские религиозные деятели из народа, см. о них примечания Долинина во II т «Писем», стр. 436 с., 476, см. также статью Р. Плетнева «Dostojevskij und der Hieromonach Parfenij» в «Zeitschrift für Slav. Philologie», 1937, Bd. XIV, H. 1—2).

О св. Тихоне он говорит: «Авось выведу величавую, *положительную* святую фигуру. Это уж не Костанжогло—с и не немец (забыл фамилию) в Обломове. Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский *положительный* тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий, не Чичиков, не Рахметов и проч. и не Лопуховы, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом» (№ 346).

Роман «Житие великого грешника» не был написан Достоевским как особое произведение, но различные стороны и части его вошли в состав «Бесов», «Подростка» и «Братьев Карамазовых» (См. об этом «Письма», II, прим. Долинина, стр. 437; см. также Бицилли. Почему Достоевский не написал «Жития великого грешника»? В сборнике «О Достоевском», ред. А. Бема, т. II, 1933). Все художественное и публицистическое творчество Достоевского проникнуто с этих пор идеею русского православно—христианского миропонимания. Насколько она владеет Достоевским, — становится особенно ясно, если прибавить к романам его записные тетради с набросками, планами и материалами для романов.

Характеры многих лиц, мировоззрение их, беседы служат выражением положительных сторон русской православной культуры или же представляют собою своеобразные искажения ее. Труднейшая для художника задача — дать живые положительные образы — в значительной степени достигнута Достоевским: князь Мышкин, Макар Иванович Долгорукий, жена Версилова Софья Андреевна, старец Зосима, Алеша Карамазов — характерно русские православные люди. Достоевский подумывал даже о том, чтобы написать книгу об Иисусе Христе.

Раньше уже было показано, что со времени возвращения Достоевского с женою из?за границы строй его личной и семейной жизни был традиционно православный. Остается лишь дополнить сказанное некоторыми чертами и фактами, имеющими значение для представления о своеобразии религиозной жизни Достоевского или для опровержения ложных истолкований ее.

Религиозная живопись производила на Достоевского сильное впечатление. В Базеле его потрясла до глубины души картина Ганса Гольбейна, изображающая тело Христа, снятого с креста.

«По дороге в Женеву, — рассказывает Анна Григорьевна, — мы остановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого?то слышал: Эта картина, принадлежащая кисти Ганса Гольбейна, изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже—снятого со креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо Его покрыто кровавыми ранами, и вид Его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился, перед него как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжелое было впечатление, особенно при моем болезненном состоянии, и я ушла в другие залы. Когда минут через 15—20 я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной, как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка» (Воспоминания, 112).

«От такой картины вера может пропасть», — говорил Достоевский.

Очень любил Достоевский картину Тициана «Кесарево кесареви», картину Аннибала Караччи «Голова молодого Христа», «Madonna della Sedia» Рафаэля. Но особенно он любил Сикстинскую Мадонну. Перед этою картиною он простаивал часами «умилненный и растроганный» (101). Почитательница Достоевского вдова поэта Алексея Толстого прислала ему в подарок в 1879 г. великолепную фотографию Мадонны «в натуральную величину, но без персонажей, ее окружающих». Она висела в его кабинете над диваном—постелью.

«Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича, — пишет Достоевская, — я заставляла его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и, чтоб не нарушить, его молитвенного настроения, я потихоньку уходила из кабинета» (стр. 257)

В 1868 г., когда Достоевский осознал свою религиозность как любовь к православию, он вместе с тем стал решительно высказывать свое понимание высокой ценности православного почитания иконы. Поводом послужило стихотворение А. Н. Майкова «У часовни»:

Дорог мне перед иконою В светлой ризе золотой Этот яркий воск, возженный Чьей-то неведомо рукой... Знаю я, свеча пылает, Клир торжественно поет; Чье-то горе утихает, Кто-то слезы тихо льет: Светлый ангел упованья Пролетает над толпой... Этих свеч знаменованье Чую трепетной душой, Это — медный грош вдовицы, Это — лепта бедняка, Это.. может быть... убийцы Покаянная тоска... Это — светлое мгновенье В диком мраке и глуши, Память слез и умиленья В вечность глянувшей души.

«Это одно из лучших стихотворений ваших, — пишет он поэту, — все прелестно, но одним только я недоволен: тоном. Вы как будто *извиняете* икону, *оправдываете*; пусть, дескать, это изуверство, но ведь это слезы убийцы и т. д. Знайте, что мне даже знаменитые слова Хомякова о Чудотворной Иконе, которые приводили меня прежде в восторг, — теперь мне не нравятся, слабы кажутся. Одно слово: «Верите вы иконе или нет!» (Храбрее, смелее, дорогой мой, уверуйте.) Может быть, вы поймете то, что мне хочется сказать; это трудно вполне высказать» (№ 318).

Исследуя это письмо, Долинин высказывает предположение, что Достоевский в действительности имеет в виду рассказ Киреевского о его переживаниях перед чудотворною иконою, но по забывчивости отнес его к Хомякову (Письма, II, 439 с.). В письме очень важно заявление Достоевского, что он и раньше высоко ценил иконопочитание, а также веру в существование чудотворных икон и что почитание иконы в настоящее время весьма усилилось в нем. Можно думать поэтому, что, за исключением краткого периода влияния Белинского, религиозность Достоевского всегда была, как и в детстве, конкретною и никогда не падала на степень абстрактного протестантского спиритуализма. За год до своей кончины в беседе с Опочининым он говорил: «Если народ, целый народ — заметьте, может чтить Божий образ, т. е. слабое, а у нас иногда и уродливое изображение Бога, Христа или Богородицы, то насколько же больше чтит он и любит самого Бога! У народа Богу всегда первое место, — передний угол; там у него божница, боговня. Ему надо иметь у себя святыню, видимую, как отображение Божества. Здесь, в этом почитании сказывается трогательная целокупность духа и сердца. Надо веровать, устремляться к невидимому Богу, но и почитать Его на земле простым сродным обычаем. Мне сказать могут, что такая вера слепа и наивна, а я отвечу, что вера такой и быть должна. Не всем же ведь богословами стать» (Е. Опочинин. «Беседы с Достоевским». «Звенья», т. VI, 1936, стр. 468).

Со времени ареста и после каторги в жизни Достоевского видное место занимает кроме Евангелия и вообще Священного Писания чтение религиозной литературы, особенно православной, например сочинений св. Димитрия Ростовского, св. Тихона Задонского,

«Сказания о странствии» инока Парфения, старообрядческая литература и литература о старообрядцах и т. п. Вопрос об этом чтении и значении его в жизни и творчестве Достоевского требует особого исследования, которое и произведено уже Р. В. Плетневым; к сожалению, труд его до сих пор остается неизданным, кроме двух глав, напечатанных в журналах: «Достоевский и Евангелие» (в «Пути», 1930) и «Dostojevskij und der Hieromonach Parfenij» (в «Ztschr. fur slav. Philologie», 1937).

Глубокое впечатление произвел на Достоевского роман Виктора Гюго «Les Miserables». Он прочитал его в 1862 г. за границею. В 1863 г. он просит А. П. Милюкова прислать ему этот роман. В 1867 г. он перечитал его в Дрездене. В 1877 г. Достоевский, сидя на гауптвахте за помещение в «Гражданине», без разрешения министра двора, заметки о киргизской депутации к государю, опять перечитывал его. Сродство романа Гюго с религиозными интересами и творчеством Достоевского несомненно. В. Гюго говорит в своем романе: «Книга эта — изображает путь от зла к добру, от ада к небу, от неверия к Богу» (V, I, 10).

В книге этой изображен переворот в душе озлобленного беглого каторжника Жана Вальжана, постепенно восходящего на высоты святости; толчком к исцелению его души была святость епископа Бьенвеню, лица, которое в молодости вело легкомысленную жизнь, но, испытав тяжелый удар в жизни сердца, вступило на путь христианского подвижничества. Возможно, что увлечение этим романом было в числе условий, приведших Достоевского теме «Жития великого грешника» и к образу старца Зосимы.

В истории осознания Достоевским высокой ценности русского православия немалое значение имела общение его с Н. Н. Страховым и Ал. Григорьевым, с А. Н. Майковым, с Победоносцевым и, наконец, с философом Вл. Соловьевым. В Великом посту 1878 г. Достоевский слушал в Соляном городке серию лекций Вл. Соловьева, составивших содержание его книги «Чтения о Богочеловечестве». В этом же году неожиданно скончался от припадков эпилепсии младший сын Достоевских Алексей. Анна Григорьевна говорит, что отец любил его «как-то особенно, почти болезненною любовью. Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упростила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев» собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича», и летом Достоевский вместе с Соловьевым побывали в этом монастыре.

«С тогдашним знаменитым «старцем» о. Амвросием Федор Михайлович виделся три раза, — пишет Анна Григорьевна, — раз в толпе, при народе, и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем его несчастии и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его: верующая ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведцем и провидцем был этот всеми уважаемый «старец».

Рассматривая различные периоды религиозной жизни Достоевского, мы нашли, что осознание высоких достоинств русского православия и выражение их в художественной и публицистической деятельности Достоевского было связано с его любовью к русскому народу и к России.

Отсюда может явиться предположение, что православие было для него не самоценностью; не целью само по себе, а только средством, которое он считал необходимым для политической жизни России, как внутренней, так и внешней, поскольку в сознании народа верховная

власть была религиозно освящена и Россия могла выступать во внешней политике как защитница других православных народов.

Если в этой догадке есть доля правды, то она сводится только к следующему положению: очень часто осознание ценности происходит так, что человек, заметив полезность ее для другой увлекающей его ценности, принимает ее сначала только как средство, но потом, ознакомившись с нею ближе, начинает усматривать ее самостоятельное значение, и тогда она глубоко овладевает его душой независимо от посторонних ей целей.

Такой процесс тем легче мог совершиться в душе Достоевского, что в детстве вместе со своею любимую матерью он переживал многие высокие стороны русского православного культа и веры, а в 1868 г., когда он начал проповедовать православие, его уму и чувству сознательно открылась ценность его, которая вовсе не влекла его в область новых интересов, оторванных от прежних: православие в той форме, которая выработана русским народом, будучи самоценностью, еще более возвышало в его глазах достоинства русского народа. Может быть, только в минуты упадка и сомнений Достоевский приближался к подмене Бога народом, подобно Шатову, который сказал, что «Бог есть синтетическая личность всего народа» (II, I, 7). По крайней мере, вместе с Шаговым он утверждал в письме к Майкову: «Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую, и Бога» (№ 357, 9. X.1870) — положение в очень многих случаях правильное, но не всеобщее.

О своих религиозных сомнениях и состояниях неверия сам Достоевский не раз говорил в очень сильных выражениях. Вспомним, например, письмо его к Фонвизинной, где он, сознавая в себе «жажду верить», говорит о себе: «...я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки» (№ 61, февр., 1854).

Задумав роман «Житие великого грешника», Достоевский писал Майкову: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие» (№ 346, 25. III. 1870).

В последний год своей жизни Достоевский писал: «Мерзавцы дразнили меня *необразованною* и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит *весь роман*. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить!» (Биография, письма и заметки из зап. кн. Достоевского, 368 с.)

Ссылаясь на «Легенду о Великом Инквизиторе» и на главу о детях в «Братьях Карамазовых», Достоевский писал в своих тетрадях: «И в Европе такой силы атеистических *возражений* нет и *не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла, как говорит у меня же, в том же романе черт» (там же, 375).

Как понять все эти заявления Достоевского, из которых видно, что он был «дитя неверия и сомнения» действительно «до гробовой крышки»? Прежде всего, как понять то письмо к Майкову, где Достоевский говорит, что «существование Божие» есть вопрос, которым он мучился сознательно и бессознательно «всю жизнь». Значит ли это, что Достоевский в периоды сомнений доходил до полного атеизма? Конечно, нет. К атеизму он относится резко отрицательно, считая его глупостью, недомыслием. «Никто из вас не заражен гнилым и глупым атеизмом», — уверенно говорит он в письме к своей сестре (№ 296, 1.11. 1868). В

существовании настоящего атеизма он даже вообще сомневается, чего не было бы, если бы он сам доходил до атеизма.

Опочинину он говорил в 1880 г.: «Никто не может быть не убежден в существовании Бога, Я думаю, что даже и атеисты сохраняют это убеждение, хотя в этом и не сознаются, от стыда что ли» (Звенья, VI, 468).

Приближался к атеизму Достоевский, может быть, лишь в 1846 г., когда находился под влиянием Белинского. В остальное же время своей жизни сомнения, которые он переживал, относились не к самому существованию Бога, а к тому, как понять это существование, например, как согласить бытие Бога и мировое зло (бунт Ивана Карамазова, признающего существование Бога, но не принимающего мира, сотворенного Им) или, например, как понять основной догмат христианства, согласно которому Иисус Христос есть воплощение Логоса, Второго Лица св. Троицы. Этот догмат должен был особенно занимать Достоевского ввиду его горячей любви ко Христу. Всю веру он сводит к этому учению, как видно из записи его к «Бесам» в связи с образом «князя», т. е. Ставрогина: «Дело в настоящем вопросе: можно ли веровать, быв цивилизованным, т. е. европейцем, т. е. веровать безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа (ибо вся вера только в этом и состоит)?»¹

Действительно, величайшая трудность для современного образованного человека заключается в учении, что Иисус, родившийся в Палестине 20 веков тому назад и распятый на кресте, был не просто человек, а воплотившийся Бог. Возможно, что у Достоевского возникали иногда сомнения относительно этого догмата, но они могли быть, по крайней мере в последние десять лет его жизни, только кратковременными, преходящими. В самом деле, он вместе со своею семьею, по-видимому, ежегодно причащался св. Тайн, а в православной церкви честный и искренний человек не может причаститься, считая этот акт не таинством, «Записные тетради», 1935, стр. 208.

Только воспоминанием об одном из событий жизни человека Иисуса: православный, стоя перед св. Дарами, слушает и повторяет предпричастную молитву «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешные спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, что сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя»...

Учение о предложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христа не могло смущать Достоевского, потому что он знал простое и ясное решение вопроса, данное Хомяковым: Христос есть господин стихий, и потому в Его власти сделать так, чтобы — «всякая вещь, не изменяя нисколько своей физической субстанции» могла стать его Телом¹. Надо помнить, что Тело Христово в таинстве Евхаристии не есть мясо и красные кровяные шарики.

Можно себе представить, с какою силою религиозного чувства приступал к причастию Достоевский, если вспомнить рассказ о его молитве почтенной старушки, вдовы священника, часто встречавшей Достоевского в Знаменской церкви: «Он всегда к заутрене или к ранней обедне в эту церковь ходил. Раньше всех, бывало, придет и всех позже уйдет. И станет всегда в уголок, у самых дверей, за правой колонкой, чтобы не на виду. И всегда на коленках и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоят; ни разу не встанет. Мы все так и знали, что это Федор Михайлович Достоевский, только делали вид, что не знаем и не замечаем его. Не любил, когда его замечали. Сейчас отворотится и уйдет» (См. у В. В. Тимофеевой (О Починковской) «Год работы с знаменитым писателем». «Истор Вести», 1904, II, 541 с.).

Молитвенное общение с Богом у Достоевского было подлинным возвышением над земною действительностью. Однажды, в 1873 г., работая в типографии Граншеля с корректором «Гражданина» Варварою Васильевною Тимофеевой Достоевский спросил ее, как она понимает Евангелие. Варвара Васильевна ответила, что видит значение Евангелия в «осуществлении учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей.

— *И только?* — *тоном разочарования протянул Достоевский.*

— *Нет, и еще...* — *добавила Тимофеева, — вся эта жизнь земная — только ступень... в иные существования...*

— *К мирам иным!* — *восторженно сказал Достоевский, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное июньское небо» (Там же, 511. Варвара Васильевна Тимофеева была лицо высококультурное и утонченно-восприимчивое, воспоминания ее о Достоевском обладают такую высокую ценностью, что должны бы быть изданы особою брошюрою).*

В последний год своей жизни Достоевский писал художнице Е. ф. Юнге: «Что вы пишете о вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе, вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у вас. Вот и поэтому вы мне родная, потому что это *раздвоение* в вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это — сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были -бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое самомнение. Но все-таки эта двойственность большая мука. Милая, глубокоуважаемая, верите ли вы во Христа и в его обеты? Если верите (или хотите верить очень), то предайтесь ему вполне, и муки от этой двойственности сильно смягчатся и вы получите исход душевный, а это главное» («Биография, письма и заметки Достоевского», ч. II, стр. 342).

Признание Достоевского о раздвоении в его душе ценно в высшей степени. Раздвоение, о котором идет речь в письме, не есть патологический распад или аморальная способность. наслаждения как добром, так и злом или бесплодный и безвыходный скептицизм: Достоевский говорит о силе духа, нравственно обязанного при решении всякой проблемы пройти через период критики, но в самой своей силе черпающего уверенность в том, что добро есть и что положительное решение проблемы существует. Такова сила великих христиан, в самом сомнении своем обращающихся к Тому, в Ком они сомневаются: «Верую, Господи! Помоги моему неверию!»

Глава третья «ПЕРЕРОЖДЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ»

В 1873 г. Достоевский говорил в «Дневнике Писателя»: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более что это, может быть, и не так любопытно» («Одна из современных фальшей»). Еще резче выразился он в письме к Майкову, когда узнал о надзоре полиции за собою и за своею перепискою: «Каково же это вынести человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему Государя» (№ 311, 19. VII. 1868).

Верно ли, что «перерождение убеждений» Достоевского достигло степени «измены прежним убеждениям»? Не ошибся ли Достоевский, употребляя такое сильное выражение? Нам,

спокойно изучающим жизнь Достоевского как законченное целое, виднее, чем ему, в чем состояло «перерождение» его.

В 1856 г. в письме к тому же Майкову, говоря о силе своих переживаний и размышлений за время их разлуки вследствие ареста и каторги, он заявляет: «Идеи меняются, сердце остается одно. Читал письмо ваше и не понял главного. Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной, обо всем, о чем вы с таким восторгом говорите. Но, друг мой! Неужели вы были когда-нибудь иначе. Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь? — да я всегда был истинно русский — говорю вам откровенно» (№ 75).

Эти слова Достоевского о неизменной основе его духовной природы должны быть руководящими при решении вопроса, в чем и насколько он изменился с течением времени.

В предыдущей главе было показано, что в течение всей своей жизни Достоевский был глубоко религиозен и влияние на него безрелигиозности Белинского было мимолетным заблуждением. Злоупотребления в церковной жизни, недостатки ее и, в частности, те искажения, которые обусловлены подчинением Церкви государству, Достоевский, конечно, осуждал не только в то время, когда читал у петрашевцев «Письмо Белинского Гоголю», а и позже, как это видно, например, из его резких отзывов о плохих священниках (см. № 311 в 1868 или № 479 в 1874 г.) Таким образом, говоря об измене прежним своим убеждениям, Достоевский, очевидно, имел в виду свои политические и общественные взгляды, а не религиозную жизнь.

Искание социальной справедливости осталось до конца жизни Достоевского существенным содержанием его интересов. Особенно волновал его вопрос об отмене крепостного права и о правильном устройстве суда, но освобождение крестьян и замечательная реформа, суда были осуществлены Александром II. На первый взгляд кажется, что «измена» убеждениям произошла в душе Достоевского в отношении к социализму. Однако более внимательное рассмотрение вопроса показывает, что это неверно. Увлечение социализмом было и до каторги в душе Достоевского выражением симпатии к исканию справедливого экономического строя, но ни одна из «систем» социализма уже в то время не удовлетворяла его. Еще будучи членом кружка петрашевцев, Достоевский понимал, что икарийская коммуна или фаланстера Фурье слишком напоминают казарму.

Но к социализму, оберегающему духовную свободу личности, Достоевский до конца своей жизни питал симпатию. В 1876 г., когда умерла Жорж Занд, он писал: «Жорж Занд была, может быть, одною из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою — в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслью, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, т. е. с признанием человеческой личности и свободы ее (а стало быть, и ее ответственности). Отсюда и признание долга, и строгие нравственные запросы на это, и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в ее время, в такой силе понимавшего, что «не единым хлебом бывает жив человек». Что же до гордости ее запросов и протеста, то, повторяю это опять, эта гордость никогда не исключала милосердия, прощения обиды, даже безграничного терпения, основанного на сострадании к самому обидчику; напротив, Жорж Занд в произведениях своих не раз прельщалась красотой этих истин и не раз воплощала типы самого искреннего прощения и любви».

«Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственников (если только позволено выразиться такую кудрявою фразою) более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь, и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца, обыкновенно, составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев».

Свой социализм Достоевский называл «христианским». Положительное содержание этого социализма, как мы увидим в главе о мировоззрении Достоевского, крайне неопределенное. Достоевский знал только точно, чего надо избегать, и с тех пор, как увидел сатанинскую сторону революционного социализма, стал ненавидеть его, борясь с ним как художник и публицист; и в эту пору, однако, мечты о нравственно обоснованном социализме, подобные тем, которые увлекали его в юности, сохранялись в его душе. Поэтому, говоря об измене своим прежним убеждениям, он, очевидно, имел в виду не социализм.

Остается только еще взглянуть на изменение политических убеждений Достоевского. Политической свободы он, по-видимому, никогда не ценил, опасаясь, что высшие сословия, или буржуазия, или образованные люди воспользуются ею, чтобы подчинить себе народ и наложить на него свою опеку. Что же касается различных видов гражданских свобод, Достоевский высоко ценил их всегда — и в молодости, и в зрелом возрасте, как это мы покажем несколько ниже.

Итак, осталась лишь одна область, в которой произошло действительно глубокое изменение, — отношение Достоевского к правительству и особенно к верховной власти. Во время общения с Белинским и потом с петрашевцами Достоевский был способен к борьбе за освобождение крестьян и против злоупотреблений власти принять участие в вооруженном восстании; мало того, в то время он мог бы, попав в руки лица, подобного Нечаеву, близко подойти к политическому убийству. «Я сам старый «нечаевец», — сказал Достоевский, вспоминая эту полосу своей жизни («Дневник Писателя», 1873, «Одна из современных фальшей»).

Интимное общение с народом на каторге открыло глаза Достоевскому на несомненную, по крайней мере для русской жизни XIX века, истину, что основной фактор русской государственности есть религиозное преклонение народа перед царем. С этих пор любовь к России, всегда воодушевлявшая Достоевского, тесно спаялась в его душе с любовью к царю как главной силе русской государственности. Первое обнаружение этого настроения связано с Севастопольскою кампаниею, когда в мае 1854 г. Достоевский написал патриотическое стихотворение «На европейские события в 1854 году» (Биография, письма... стр. 17—20).

В следующем году император Николай I умер и на престол вступил Александр II, которого вся Россия полюбила еще наследником. Достоевский в письме к Врангелю говорит: «Дн. Пис.», 1876, июнь, II.

«Вы пишете, что любите царя. Я сам обожаю его» (№ 79, 13. IV.1856). Написав стихотворение на коронацию и заключение мира, Достоевский добивается того, чтобы оно дошло до государя. Ряд милостей, полученных от государя, производство в офицерский чин, разрешение печататься, жить в столице, а главное — великие реформы, осуществленные им, привязали сердце Достоевского к личности Александра II и превратили его в горячо преданного правительству человека. Вспомним, как взволновало Достоевского усиление революционного движения во время реформ и как, найдя у двери своей квартиры прокламацию «Молодая Россия», он поехал к Чернышевскому с просьбою удерживать революционеров.

В 1868 г. он писал Майкову, что «за границей окончательно стал для России совершенным монархистом» и что западники не понимают этой основы русской государственности (№ 302). Еще через несколько лет Мекензи Уоллес рассказывал, как «в одном обществе в Петербурге кто-то сочувственно отзывался при нем об императоре Николае Павловиче, и этот кто-то, к великому удивлению Уоллеса, оказался Достоевским» (Биография... О. Миллер, стр. 84).

Здесь именно во взглядах и чувствах Достоевского к правительству и, главное, к самодержавной царской власти находится та единственная, по-видимому, область, в которой «перерождение убеждений» его достигло степени «измены прежним убеждениям».

О всех остальных его взглядах можно повторить его слова «идеи меняются, сердце остается одно»: ценности, которые были осознаны Достоевским в молодости и были дороги ему, увлекали его до конца жизни, но, по мере накопления опыта, *средства* осуществления их представлялись ему иными, чем в молодости.

В книге «Мученик богоискательства. Достоевский и религия» Р. А. Покровский изображает изменение убеждений Достоевского как глубокий переворот и заканчивает свое изложение словами: «Начав с влияния Белинского, он кончил влиянием Победоносцева». Сопоставление этих двух имен производит сильное впечатление, но только на несколько секунд, пока читатель не опомнится и не отдаст себе отчет в том, что Победоносцев проявил себя как крайний реакционер в царствование Александра III после смерти Достоевского.

Некоторые современники Достоевского (См., напр., в статье В. В. Тимофеевой «Год работы с знаменитым писателем» яркое изображение замечаний о Достоевском Н. Демерта и М. Кавоса) и особенно тенденциозная большевистская печать клеймят Достоевского именем реакционера. Все предыдущее изложение показывает несправедливость этих нападок. Чтобы окончательно отдать себе в этом отчет, рассмотрим подробнее отношение Достоевского к свободе личности в общественной и государственной жизни.

К политической свободе на основе буржуазной или сословной конституции Достоевский, как уже сказано, относился отрицательно, между прочим, именно потому, что боялся, как бы она не привела к стеснению свободы народа.

«Вы будете представлять интересы вашего общества, но уж совсем не народа, — читаем мы в его записной книжке. — Закрепостите вы его опять! Пушек на него будете выпрашивать! А печать-то, печать в Сибирь сошлете, чуть она не по вас! Не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет» («Биография, письма и заметки», стр. 360).

«Дайте им (т. е. либералам, которые увлекаются европеизмом) хоть конституцию, они и конституцию приурочат к административной опеке России. Научить народ его правам и обязанностям? Это они-то будут учить народ его правам и обязанностям? Ах, мальчишки!» (Там же, 362 с; по-видимому, и до каторги он так же относился к политическим формам, там же, О. Миллер, стр. 85 с.; см. также, «Дн. Пис.», 1881, гл. первая, I).

В этом недоверии к ограниченным формам политической свободы Достоевский сходится со многими представителями также и революционного народничества. Что же касается различных видов гражданской свободы, Достоевский был защитником их в течение всей своей жизни. И до каторги, и после нее он был сторонником свободы печати и свободы мысли.

Всякое стеснение мысли, убеждений глубоко претило Достоевскому. В 1873 г. издатель «Гражданина» кн. Мещерский напечатал статью, где, говоря о прокламациях, найденных у студентов, он рекомендовал правительству устраивать студенческие общежития и в числе преимуществ таких студенческих домов он, по-видимому, указывал на удобство «надзора» в них за молодежью. Достоевский, будучи в это время редактором «Гражданина», выкинул строки о надзоре. В письме об этом к Мещерскому он объясняет сокращение статьи так: «У меня есть репутация литератора, *губить* себя я не намерен. Кроме того, ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце» («Письма», III, № 445, см. также прим. Долинина, стр. 316 с.).

В письме к Х. Д. Алчевской в 1876 г., говоря о достоинствах прогрессивно настроенной молодежи, Достоевский замечает, что есть и печальные факты: «Вчера вдруг узнаю, что один молодой человек, еще из учащихся, будучи в знакомом доме, зашел в комнату домашнего учителя, учившего детей в этом семействе, и, увидав на столе его *запрещенную книгу*, донес об этом хозяину дома, и тот тотчас же выгнал гувернера. Когда молодому человеку, в другом уже семействе, заметили, что он *сделал низость*, то он этого *не понял*. Тут характерен был особенно, как мне передавали, тот процесс мышления и убеждений, вследствие которых он *не понял*, и об чем можно было бы сказать любопытное словцо» (III, № 544).

До какой степени акт доноса претил Достоевскому, видно из следующего разговора его с А. С. Сувориным. В своем «Дневнике» Суворин сообщает: «В день покушения Млодецкого на Лорис–Меликова (20 февраля 1880) я сидел у Достоевского. О покушении ни он, ни я еще не знали».

Заговорив о политических преступлениях вообще и о взрыве в Зимнем дворце в особенности, Достоевский как бы сочувствовал этим преступлениям или, вернее, не знал хорошенько, как к ним относиться.

«Представьте, — говорил Достоевский, — что мы стоим у окна магазина Дациаро, смотрим картины и слышим разговор двух лиц; один сообщает другому, что он завел машину и Зимний дворец сейчас будет взорван. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?» — «Нет, не пошел бы», — ответил Суворин. «И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это преступление». Причины, заставляющие предупредить преступление, рассуждал Достоевский, основательны; причины, не позволяющие предупредить его, ничтожны: «просто боязнь прослыть доносчиком»; «у нас все ненормально» (Дневник А. С. Суворина, 15 с., 1923).

«Административный восторг» и всякий административный произвол, нарушающий права личности, установленные законом, всегда возмущал Достоевского. Когда петербургский градоначальник Трепов наказал розгами политического заключенного А. С. Боголюбова, отказавшегося снять шапку перед ним, и Вера Засулич покушалась убить его выстрелом из револьвера, Достоевский присутствовал на ее процессе и высказался за оправдание ее (*Л. Гроссман*. «Жизнь и труды Достоевского», стр. 264 и 271).

Рассуждая о русских «лишних людях», Достоевский не удовлетворяется почти общепринятым социологическим объяснением их недовольства жизнью; он ищет более глубоких причин их неумения найти себе место в жизни и утверждает, что Алеко, убивший Земфиру, изменившую ему, или Онегин, застреливший на дуэли Ленского, — сами «в своем роде Держиморды» («Дн. Пис.», 1880, август, гл. третья, II).

Общественную самодеятельность Достоевский, как и славянофилы, высоко ценил. Когда Менделеев не был избран в число членов Академии Наук, Достоевский в своей записной книжке набрасывает заметку: «Проект Русской Вольной Академии Наук. По поводу отвергнутого Менделеева почему не завести нашим русским ученым своей Вольной Академии Наук на частные пожертвования» («Биография...», стр. 358). В земском самоуправлении он видит «дворот к народу, к народным началам» (Там же, 362).

«Гражданская свобода», думает Достоевский, благодаря «органической живой связи народа с Царем своим» у нас «может водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире» («Дн. Пис.», 1881, январь, гл. первая, V).

За несколько дней до смерти, беседуя с редактором «Исторического Вестника», Достоевский говорил, что самодержавная власть беспристрастна, и потому она именно может дать России «самую широкую свободу печати, сходов, исповеданий» и пр.

«Я высказывал все это некоторым высокопоставленным лицам, приводит Шубинский собственные слова Достоевского, — они во многом соглашались со мною, но безграничной свободы печати не могут понять. А не понимая этого, ничего понять нельзя...» («К портрету Ф. М. Достоевского», «Истор. Вести.», 1881, III).

Мало того, когда в последний год жизни Достоевского усилились толки и надежды на созыв Земского собора, Достоевский писал, что нужно «оказать доверие» народу.

«Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, что им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. Пусть скажет сначала один, мы же, «интеллигенция народная», пусть станем пока смиренно в сторонке и сперва только поглядим на него, как он будет говорить, и послушаем. О, не из каких-либо политических целей я предложил бы устранить на время нашу интеллигенцию, — не приписывайте мне их пожалуйста, — но предложил бы я это (уж извините, пожалуйста) — из целей лишь чисто педагогических. Пусть постоим и поучимся у народа, как надо правду говорить. Пусть тут же поучимся и смирению народному, и деловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. И кто знает, может быть, это было бы началом такой реформы, которая по значению своему даже могла бы быть выше крестьянской. И когда ответит народ, когда доложит все о себе и замолкнет его смиренное слово, — спросите, попробуйте спросить, тогда и интеллигенцию нашу, — ну, хоть лишь мнения ее о том, что сказал народ, и вы сейчас же увидите последствия. О, тогда и их слово плодотворно будет, ибо они все же ведь интеллигенты и последнее слово за ними. И увидите, что ничего не скажет тогда наша интеллигенция народу противоречиво, а лишь облечет его истину в научное слово и разовьет его во всю ширину своего образования, ибо все же ведь у ней наука или начала ее, а наука народу страшно нужна» («Дн Пис.», 1881, январь, гл первая, V).

За несколько дней до кончины Достоевский высказал даже редактору «Исторического Вестника» следующую мысль: «Министры должны быть ответственны перед Земским собором, который должен служить непосредственным звеном между самодержавием и народом» (К портрету Достоевского. «Истор. Вести.», 1881, III). Трудно представить, как согласить эту мысль с защитой самодержавия.

Страхов говорит, что во взглядах Достоевского вообще не было «ничего сложившегося»: ему свойственна была «неистощимая подвижность ума», «широкая способность всему симпатизировать», «уменье примирять в себе, по-видимому, несогласимые настроения,

стремление ничего не отвергать, ничего не исключать безусловно и оставаться верным в любви к тому, что раз он полюбил» (Биография.. Н. Страхов. Воспоминания о Достоевском).

С 1874 г. начинается новый период в развитии взглядов Достоевского, называемый *синтетическим*. Написав «Бесов», он как будто освободился от односторонней сосредоточенности на сатанинском зле, примешанном к освободительному движению, и стал замечать положительные стороны его, особенно среди молодежи. К тому же год работы (1873 г.) с кн. В. П. Мещерским, без сомнения, открыл ему глаза на низменные стороны реакционных кругов, например, тогда, когда он столкнулся с проектом надзора за студентами. В этом же году, работая с корректоршей журнала В. В. Тимофеевой, он встретил в ней девушку, увлеченную освободительным движением, приятельницу народников, но вместе с тем религиозную, патриотически настроенную, высококультурную и серьезно работающую, одушевленную искренним желанием служить русскому народу и России. Беседы с нею послужили толчком к похвалам русской женщине, в которой, по словам Достоевского, «замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва» («Дн. Пис.», 1873, XV, «Нечто о вранье»).

При ее посредничестве, по-видимому, Некрасов узнал, что Достоевский готов поместить в «Отечественных Записках» свое произведение (В. В. Тимофеева (Починковская). «Истор. Вести.», 1904, II), и сделал в апреле 1874 г. визит Достоевскому после многолетнего перерыва их сношений. В результате «Подросток» был запродан Некрасову (А. Г. Достоевская. «Воспоминания», 185—187).

Когда в 1875 г. началось печатанье «Подростка» в «Отечественных Записках», Достоевский приехал из Старой Руссы в Петербург, чтобы условиться с Некрасовым о сроках дальнейшего печатания романа.

«С чувством сердечного удовлетворения, — вспоминает Анна Григорьевна, — сообщал мне муж в письмах 6-го и 9-го февраля о дружеской встрече с Некрасовым и о том, что тот пришел выразить свой восторг по прочтении конца первой части. Вернувшись в Руссу, муж передавал мне многое из разговоров с Некрасовым, и я убедилась, как дорого для его сердца было возобновление задушевных сношений с другом юности» (201 с.).

Наоборот, отношения с А. Н. Майковым и Страховым тотчас стали охлаждаться.

Достоевский пишет об этом жене: «Майков, когда стал расспрашивать о Некрасове и когда я рассказал комплименты мне Некрасова, сделал грустный вид, а Страхов так совсем холодный. Нет, Аня, это скверный семинарист, и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением «Эпохи», и прибежал только после успеха «Преступления и наказания». Майков несравненно лучше, он подсадует, да и опять сблизится, и все же хороший человек, а не семинарист» (III, № 305, 12.11.1875).

Левая печать в это время стала хвалить Достоевского, а правая бранить.

В январе 1877 г. Достоевский посетил больного Некрасова, и оба они тепло вспомнили о первой встрече их, когда Григорович и Некрасов, прочитав «Бедных людей», тотчас же в 4 часа утра пришли к Достоевскому. Через несколько дней Достоевский рассказал об этом свидании с Некрасовым, а также о той первой встрече, и весь рассказ этот проникнут глубоким чувством духовной связи с Некрасовым и Белинским («Дн. Пис.», 1877, январь, гл. вторая, III).

В конце этого же года Некрасов умер, и Достоевский целую ночь просидел за чтением его произведений. Он отдал себе отчет в том, «как много места» занимал этот поэт в его жизни; на могиле его он сказал о нем слово как о человеке, у которого было «ранено сердце и не закрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой, так часто, доле его» («Дн. Пис.», 1877, декабрь, гл. вторая, I).

Особенно следует отметить произведенную Достоевским в этот заключительный период его жизни переоценку личности и значения Белинского. В 1871 г., когда Достоевский писал «Бесов», он в письме к Страхову говорил: «Смрадная букашка Белинский (которого вы до сих пор еще цените) именно был немощен и бессилён талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда» (№ 385).

В следующем письме он отзывался еще резче: «Я обругал Белинского более как явление Русской жизни, нежели лицо: это было самое смрадное, тупое и позорное явление Русской жизни. Одно извинение — в неизбежности этого явления. И уверяю Вас, что Белинский помирился бы теперь на такой мысли: «А ведь это оттого не удалось Коммуне, что она все?таки прежде всего была французская, т. е. сохраняла в себе заразу национальности. А потому надо приискать такой народ, в котором нет ни капли национальности и который способен бить, как я, по щекам свою мать (Россию)». И с пеной у рта бросился бы вновь писать поганые статьи свои, позоря Россию, отрицая великие явления ее (Пушкина) — чтобы окончательно сделать Россию вакантною напиею, способною стать во главе общечеловеческого дела. Иезуитизм и ложь наших передовых двигателей он принял бы со счастьем. Но вот что еще: вы никогда его не знали, а я знал и видел и теперь осмыслил вполне. Этот человек ругал мне Христа по-матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения: он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное — самолюбия» (№ 387).

В марте 1876 г. Достоевский уже совсем иначе отзывається о Белинском: «Много ли было тогда воистину либералов, много ли было действительно страдающих, чистых и искренних людей, таких, как, например, недавний еще тогда покойник Белинский (не говоря уже об уме его)» («Дн. Пис.», 1876, март, гл. вторая, IV). В июне этого года после рассуждений о Жорж Занд он идет еще дальше; он говорит, что, присоединяясь «к европейским социалистам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации», Белинский был, подобно славянофилам, «самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало».

«Если славянофилов спасало тогда их русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы счесть его своим самым лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что «если б Белинский прожил долее, то, наверно бы, примкнул к славянофилам». В этой фразе была мысль» (июнь, гл. вторая, I и II).

А еще в 1873 г. Достоевский, приведя эту мысль Григорьева, отверг ее и насмешливо изображал Белинского как эмигранта, скитающегося по европейским конгрессам («Старые люди»). Но легкомысленного отношения Белинского ко Христу и религии Достоевский не мог забыть до конца жизни: беседа Коли Красоткина с Алешею Карамазовым в главе «Мальчики» представляет собою, как доказал Г. Чулков, саркастическую пародию на мысли Белинского о Христе и религии (Г. Чулков. «Последнее слово Достоевского о Белинском» Сборник «Достоевский». Труды Госуд. Акад. Худож. Наук, Литер, секция, 1928).

В последние годы своей жизни Достоевский получал множество писем, особенно от молодых людей из различных кругов общества и самых различных политических направлений. Многие приходили к нему на дом, ища духовного руководства. Об одном таком посещении двух студенток Медицинской Академии Достоевский писал Х. Д. Алчевской: они заявили, что вступили в Академию, «чтоб получить высшее образование и приносить потом пользу».

«Что за простота, натуральность, свежесть чувства, чистота ума и сердца, самая искренняя серьезность и самая искренняя веселость!» (№ 544, 9. IV. 1876) Общее впечатление у Достоевского складывается в пользу этой молодежи. Он признает, что она ищет идеала («Дн. Пис.», 1876, декабрь, гл. первая, IV).

В «Дневнике Писателя» 1876, 1877 и 1880 гг. много страниц посвящено обличению сил, препятствующих духовной и материальной жизни народа.

«Сила отрицания в «Дневнике Писателя» последних лет подчас изумительна по своей гневности и беспощадности, — пишет Долинин. — Мечтает, как истый толстовец: о достижении гармонии на земле путем любви, смиренного отказа Ноздревых, Чичиковых и Коробочек от своих привилегий, стоит им только стать настоящими христианами», а сам классовую борьбу разжигает в каждой строчке своей, как только заговорит об угнетенных в прошлом и настоящем, на Западе и в России: о крестьянском ли бесправии, об обездоленном западном пролетариате, о детях, рождающихся на мостовой, и изнурительном труде их на фабриках и заводах, особенно же зло о классе дворян, прокучивающих за границей с французскими шансонетками трудовые мужицкие гроши, и о жестокой силе капитала, заграничного и отечественного, вторгшегося и в деревню и ее разоряющего» (Долинин. «К истории создания «Братьев Карамазовых», стр. 33. В сборнике «?. ?. Достоевский». Под ред. Долинина Акад наук СССР. Литер, архив, 1935).

При таком обостренном восприятии бедствий народной жизни Достоевский, задумывая продолжение «Братьев Карамазовых», мог даже и своего положительного героя, «раннего человеколюбца» Алешу, провести через период увлечения революционным движением. После сообщенной выше беседы с Сувориным о политических преступлениях Достоевский сказал, что вслед за «Братьями Карамазовыми» напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов.

«Он хотел, — сообщает Суворин, — провести его через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером» (стр. 16).

Роман «Братья Карамазовы» Достоевский печатал в «Русском Вестнике» Каткова. Какие мотивы побудили Достоевского после печатания «Подростка» в «Отечественных Записках» вернуться опять в консервативный журнал?

Л. Е. Оболенский рассказывает, что на обеде профессоров и литераторов в честь Тургенева 13 марта 1879 г. «два молодых и горячих сотрудника «Недели» (Юзов и Червинский) стали упрекать Достоевского за то, что он печатает свои романы в «Русском Вестнике» — и этим содействует распространению журнала, направление которого, конечно, не может разделять. Достоевский стал горячо оправдываться тем, что ему нужно жить и кормить семью, а между тем журналы с более симпатичным направлением отказывались его печатать. Он сослался на Н. П. Вагнера, который подтвердил, что ездил с предложением Достоевского в один из

лучших журналов, но там категорически отказались даже вести переговоры по этому вопросу (Л. Е. Оболенский. «Истор. Вести.», 1902, № 2, стр. 501).



Об этом обеде имеем мы еще более ценные сведения в страстном письме А. Н. Майкова к Достоевскому: *«Любезнейший Федор Михайлович! Вернулся я с Тургеневского обеда измятый, встревоженный, несчастный, одинокий. Фальшь и ложь, амфаз и глупость, одна и та же тема — словом, весь сумасшедший дом петербургской печати, со Спасовичем во главе. Но это все ничего. Удар, от которого у меня забилося сердце, нанесен был в святую святых души моей, поколебал веру в человека — хуже, веру в трех праведников. Этот удар нанесли Вы. Поймите меня. Вас спрашивает кто-то из молодого поколения: «Зачем только Вы печатаете в «Русском Вестнике»? Вы отвечаете: во-первых, потому, что там денег больше и вернее и вперед дают, во-вторых, цензура легче, почти нет ее, в-третьих, в Петербурге от Вас и не*

взяли бы. — Я все ждал 4-го пункта и порывался навестить Вас — но Вы уклонились. Я ждал. Вы как независимый должны были сказать, по сочувствию с Катковым и по уважению к нему, даже по единомыслию во многих из главных пунктов, хотя бы о тех, о коих шла речь здесь на обеде, — Вы уклонились, не сказали. Как? Из-за денег Вы печатаете у Каткова? Ведь это несерьезно, это не так. Что же это такое? Отречение? Как Петр отрекся? Ради чего? Ради страха иудейского? Ради популярности? Разве это передо мною пример, как Вы приобретаете доверие молодежи? Скрывая перед нею главное, поддельываясь к ней?» (Сборник «Достоевский», под ред. Долинина, т. II, стр. 364).

Из приведенных данных видно, что Достоевскому в эту пору было симпатичнее направление прогрессивной печати. Из ее среды он получал приглашения печататься: сам Салтыков просит его дать «хоть небольшой рассказ» для «Отечественных Записок» (Долинин. «К истории создания «Братьев Карамазовых», сборн. «Достоевский», 1935, стр. 51); Гайдебуров приглашал его в «Неделю». Но Достоевский, по-видимому, хотел поместить «Братьев Карамазовых» в журнале либеральном и вместе с тем платящем хорошо, как Катков. В этот «один из лучших журналов» обратился Н. П. Вагнер, но «там категорически отказались даже вести переговоры по этому вопросу». Что же это за журнал? Может быть, «Вестник Европы» Стасюлевича, где Вагнер был сотрудником?

Изучая последний период жизни Достоевского, Долинин рассматривает, между прочим, отношение его к славянофильству С. А. Юрьева и следующими чертами характеризует взгляды Достоевского в это время: «Ослабеваает ненависть к Белинскому и к идеям Запада, славянофильство становится более терпимым и широким, именно таким, каким оно было у Юрьева, который искал идеала церковного строя не в византийских традициях, а в демократической общине первых веков христианства, был сторонником «хорового начала», при котором «требования личности находились бы в гармонии с интересами общими», слышен был бы каждый отдельный голос и в то же время все голоса сливались бы в одно гармоническое целое» (Письма, II, прим. на стр. 514; см. также предисловие Долинина к III тому «Писем», стр. 6—13, и статью Долинина «К истории создания «Братьев Карамазовых»).

Рассуждая о том, что «наше общество не консервативно», Достоевский объясняет этот факт следующим соображением: «оно не видит, что сохранять. Все у него отнято, до самой законной инициативы. Все права русского человека — отрицательные. Дайте ему что

положительного и увидите, что он будет тоже консервативен. Ведь было бы что охранять. *Неконсервативен он потому, что нечего охранять*» (Биография, стр. 357).

Неудивительно поэтому, что незадолго до своей кончины Достоевский додумался даже, по свидетельству Шубинского, редактора «Исторического Вестника», до ответственности министров перед Земским собором, как-то надеясь совместить ее с самодержавием.

До конца жизни своей Достоевский сохранял способность к дальнейшему развитию и был далек от всякого партийного окостенения. О современном ему русском либерализме он говорил, что он обратился «или в ремесло, или в дурную привычку» и «принадлежит к разряду успокоенных либерализмов»; «либералы наши, вместо того чтобы стать свободнее, связали себя либерализмом, как веревками». О себе же он говорит: «считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокаиваться» («Дневник Писателя», 1876, январь, гл. первая, I).

Поэтому причислить Достоевского к какой-либо определенной партии или направлению нельзя. Одно только можно сказать определенно, что лица, называющие Достоевского реакционером, злоупотребляют этим термином. Реакционером можно назвать лицо, проповедующее движение назад, подлинный регресс, состоящий в отказе от осуществленных уже положительных ценностей общественной жизни и возврате к прежнему худшему строю ее. Никаких следов реакционности и ретроградности в развитии Достоевского не было. Он был защитником самодержавия и в этом отношении консерватором. Но в то же время, подобно старшим славянофилам, он был горячим сторонником гражданских свобод и противником административной опеки над народом в хозяйственной и духовной жизни.



В заключение нужно сказать несколько слов о происхождении Достоевского. Дочь Достоевского Любовь написала о своем отце книгу: (Aimee Dostoievsky. Vie de Dostoievsky par sa fille), в которой говорит, что русский народ не обладает никакими хорошими нравственными качествами, а отец ее был человек с возвышенным нравственным характером и объясняется это тем, что он — не русский, а литовец. Заявление это — голословное, но, к сожалению, многие иностранцы и даже русские поверили ему.

Федор и Любовь, дети писателя

К счастью, мы имеем теперь точные сведения о происхождении Достоевского благодаря книге М. В. Волопкого «Хроника рода Достоевского» (Москва, Кооперативное издательство «Север», 1933). Документальные сведения о роде Достоевских имеются начиная с 1506 г. В этом году пинский князь Федор Иванович Ярославич выдал своему боярину Иртищевичу (по другим документам Иртищу) жалованную грамоту на владение несколькими селами, в том числе частью села Достоево (в Пинском уезде Минской губернии). После этого потомки боярина Иртища стали называться Достоевскими.

Князь Федор Иванович Ярославич «принадлежал к московской ветви Рюриковичей»; отец его, князь Иван Васильевич, «бежал в Литву в княжение Василия Темного в 1456 г. Боярин Данило Иванович Иртищ мог быть или из местных уроженцев, или не исключена возможность, что он или его отец эмигрировали в Литву из Московского государства, может быть, в свите своего князя». «Прозвище родоначальника Достоевских — Ртищевич, Иртищ,

Часть I ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Книжная лавка <http://ogurcova-portal.com/>

Артишевич напоминает великорусский род Ртищевых» (24). Итак, родоначальник Достоевских или великоросс, или белорус, т. е. русский. Некоторые из потомков его приняли католичество и стали подписываться по-польски, другие продолжали подписываться по-русски.

Некоторые из переселившихся в Украину представителей рода Достоевских стали вступать в ряды православного духовенства. Так, дед писателя Андрей Достоевский был протоиереем в городе Брацлаве Подольской губернии. Сын его Михаил, отец писателя, переселился в Москву, где прошел курс Медико-Хирургической Академии.



Анна Сниткина и дети Достоевского

Живя в Белоруссии, Достоевские, по-видимому, вступали в брак с девушками белорусского и, может быть, иногда польского происхождения, насколько можно судить по их именам-отчествам. Отец писателя был женат на Марии Федоровне Нечаевой, дочери московского купца, почти наверное великоросса. Таким образом, Достоевский не имеет ничего общего с литовским народом. Вероятнее всего, что в нем сочеталась кровь всех трех ветвей русского народа — великороссов, белорусов и украинцев, с преобладанием великорусского элемента.

Почему дочь его распространяла по всему миру столь ложные сведения о своем отце? По-видимому, она возненавидела русский народ, может быть, за то, что он произвел Октябрьскую революцию, а может быть, и потому, что она написала несколько романов, но они не имели успеха в русском обществе.